

Письма к Н. А. и К. А. Полевым

Автор: Бестужев-Марлинский Александр Александрович

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕСТУЖЕВА

к Н. А. и К. А. Полевым,

ПИСАННЫЕ В 1831-1837 ГОДАХ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

К числу приятнейших эпизодов моей жизни принадлежит заочное сближение, перешедшее наконец в истинную дружбу, с Александром Александровичем Бестужевым!.. Его необыкновенная судьба и не менее необыкновенное дарование. как писателя, делают его лицом чрезвычайно любопытным, столько же для современников, сколько для потомства, и потому я почитаю счастьем, что могу познакомить русскую публику с последними годами жизни этого достопамятного человека, изданием писем его, писанных к брату моему Николаю Алексеевичу и ко мне, с 1831-го года почти по день его смерти.

Прежде нежели объясню, как началась наша переписка, я должен сказать, в каких отношениях находились мы с ним до 1831 года. Брат мой очень близко познакомился с Александром Бестужевым в 1823 и 1824 годах. Во время частых своих поездок в Петербург, он бывал у него, проводил вечера в обществе его и близких его друзей, и был всегда радушно встречаем в этом образованном кружке. Не только сам Бестужев, но и друзья его, оказывали ему приязнь и уважение. В доказательство упомяну, что товарищ Бестужева по изданию Полярной Звезды, проезжая через Москву в декабре 1824 года, каждодневно бывал у Николая Алексеевича, и расстался с ним как искренний приятель. Тем удивительнее было нам, когда Бестужев, в обозрении Русской Литературы, напечатанном в Полярной Звезде 1825 года (вышедшей в конце марта), отозвался насмешливо и неуважительно о Московском Телеграфе, с явным желанием кольнуть издателя. Мы приписывали такую перемену в мнении Бестужева, во-первых тому, что он вообще принадлежал к литературной партии, открывшей войну против Телеграфа, и во-вторых, что в последних книжках журнала Литературные Листки за 1824 год было напечатано мое возражение на разбор Бауринговых переводов с русского, там же напечатанный Бестужевым. Летом 1825 года Бестужев был в Москве, жил у С. Д. Нечаева, и заезжал к нам. Тут я в первый раз видел его. В разговоре как-то речь коснулась наших литературных несогласий, и Бестужев, говоря о моей статье, сказал, что не должно писать возражений так, чтобы их нельзя было опровергать в свою очередь, разумея конечно мою защиту влияния, какое имели немцы на образованность Русских. Он отвергал это влияние. Мы с братом отплатили ему визит, но в этот раз пробыли у него не долго, потому что он спешил в итальянскую оперу, существовавшую тогда в Москве. Тем и кончились наши личные сношения.

Через несколько месяцев ужасное несчастье поразило Бестужева. Душевно скорбя о нем, мы даже не знали, где он находился до 1831 года. Между тем Московский Телеграф существовал уже шесть лет, и были изданы первые тома Истории Русского Народа. В это-то время Н. А. получил по почте первое письмо от Бестужева из Дербента. К величайшему моему сожалению, именно это письмо, которое могло бы служить ключом ко всем следующим, затерялось, и я должен изложить здесь главное содержание его, очень памятное мне. Бестужев начинал, его, говоря, что почитал бы себя недостойным имени Русского, если бы не отдавал справедливости издателю Московского Телеграфа, распространяющего так много новых светлых и полезных идей и сведений, и не сочувствовал автору Истории Русского Народа, первой попытке создать истинную русскую историю. Распространившись по своему о достоинстве трудов и сочинений Ник. Ал-ча, Бестужев прибавлял, что похвалы его беспристрастны, потому что он, в своем положении, "непораним" (именно его выражение) для критики, и его мнение не есть корыстное задобривание журналиста в пользу своих сочинений. Примите

выражение его как долг с моей стороны, говорил он, тем более обязательный, что по последним литературным сношениям вы могли почитать меня неприязненным к себе. Будьте же уверены в моем искреннем уважении к вам и утешьте в ответе, что я так же не потерял вашего уважения и сочувствия. В заключение он вызывался прислать несколько своих сочинений для напечатания в Телеграфе и упоминал, что писать к нему можно прямо, в Дербент, на его имя.

Брат мой был чрезвычайно обрадован этим письмом и выразил Бестужеву всю благодарность и все сочувствие свое в ответе на его благородный привет. Следовавшее за тем второе письмо Бестужева к Н. А. открывает ряд писем его, ныне издаваемых мною. Они хранились у меня, и во все время я отдавал их для прочтения только сестре Александра Александровича, Елене Александровне, и брату его Павлу, когда он жил в Москве. Вероятно, этот ветренник давал, их кому-нибудь из своих друзей и не возвратил, мне некоторых писем, хотя, принимая их, ручался хранить как святыню. Кто не сожалеет, что эти дорогие для нашей литературы письма потеряны! Два из них выужены любителями редкостей из забвений и напечатаны в Отечественных Записках, вместе с письмами Бестужева к его родным. Желая, чтобы хоть таким путем явились на свет другие письма его, писанные ко мне и к моему брату. В каждом из них было что-нибудь замечательное, или как подробность его жизни, или как суждение, впечатление современное, или, наконец, как образчик оригинального его слога. Помню, что в одном он описывал несчастное событие, как в комнате его застрелилась девушка и как пристрасно вели следствие о том. Между прочим тут он говорил: Пусть потомки наши узнают, что в числе моих злейших врагов были подполковник В. и особенно поручик Р-ъ, производивший следствие. Сохраните их имена как имена злобных моих гонителей. Разумеется, все это было сказано резче и лучше нежели я передаю здесь. В другом письме, отвечая на известие мое, что я незадолго воротился из Петербурга, он с какою-то простосердечною, детскою радостью восклицал: "Вы были в Петербурге! Расскажите, что он, мой голубчик, каков? так ли хорош как был прежде?" Этого письма нет, так же как нет еще того, где была одна замечательная бестужевская фраза, которую смеясь любил повторять брат мой: "Надобно чтобы событие отдалилось на исторический выстрел -- тогда можем судить о нем." Еще нет письма, присланного им с портретом своим. Может быть недостает других нескольких писем, которых вовсе не помню. Но, к утешению себя, думаю, что всех потерянных писем не больше десяти. Это показывают означенные на издаваемых ныне числа. В последние годы он писал реже, конечно от того, что, как выразился в последнем письме ко мне, не задолго до своей смерти: "Мне все и всё надоело... я устаю!" Сильная, но восприимчивая его природа не могла перенести мысли о безнадежности, и он тяготился жизнью, питал в душе мрачные мысли, и наконец искал, смерти. В таком расположении духа он неохотно брался за перо. Это понятно.

Я должен пояснить, отчего переписка, начатая им с братом моим, продолжалась наконец исключительно со мною. Брат мой Н. А., этот неутомимый писатель, был ленивейший человек отвечать на письма. Из многих мест в письмах Бестужева можно видеть, что почти с самого начала Н. А. медлил в ответах ему и приводил его в недоумение. Дорожа перепиской с этим достопамятным человеком, я наконец вызвался быть его корреспондентом и по возможности заменить моего брата, слишком занятого и вечно ленивого на письма. Меня побуждало к переписке с Бестужевым и понятное участие душевное, и удовольствие переписываться с таким человеком, и наконец желание быть ему полезным или по крайней мере облегчить хоть малыми услугами грустную его судьбу. Такие побуждения заставляли меня исполнять бесчисленные его поручения касательно заказов и покупок (что можно видеть в письмах его) и наконец вызваться на издание трех томов его сочинений. Все это было не без хлопот, и даже не обошлось без неудовольствий для меня. Он сам пишет, что петербургские приятели клеветали ему на меня, как только могли, а один общий знакомый, в Ставрополе, уверял, что мы с братом совершенно разорены. По милости почты и частых своих переселений, он не получал несколько месяцев моих писем, в то самое время, когда я хлопотал о выручке денег за его сочинения, и в одном письме, минутно, в припадке прилива желчи (как он объяснял потом), он даже выразил мне некоторое сомнение... Можно видеть из следующего за тем письма, как он раскаивался в этом оскорблении меня! Может ли назвать иначе подозрение его тот, кто бескорыстно служил ему, исполнял все его желания, даже прихоти, и наконец составил для него капитал в 20,000 рублей ассигнациями изданием его сочинений и безмездным трудом своим при том. В истине этого ссылаюсь на собственные его письма ко мне, и на достопочтенную сестру его, Елену Александровну, которой выплатил я остальные деньги его сполна, уже после его смерти. Вознаграждением меня за все, что делал я для Бестужева, служило единственно собственное сознание, что я исполнил долг верного друга его, как он называл меня много раз.

Об историческом и литературном значении писем его -- предоставляю судить читателям. Мне кажется, что нигде лучше и сильнее не выразил он себя, потому что в этих письмах находил отраду высказывать самые задушевные свои мысли и ощущения. Из них можно составить лучшую его биографию. Множество любопытных подробностей рассеяно в них и о нем самом в разные эпохи его жизни, и о людях, с которыми он был в сношениях, и о событиях, в которых был участником. Литературные его суждения чрезвычайно оригинальны, иногда метки и верны. Не говорю о своеобразном его языке, против которого многие рассыпались порицаниями, но немногие заметили, что едва ли кто лучше Бестужева владел русским языком, едва ли кто больше постигал богатства этого великолепного, роскошного языка. Не надобно подражать Бестужеву в способе его выражения, потому что, не имея склада его ума, смешно было бы такое подражание; но можно поучиться у него знанию духа языка, верности и точности в употреблении каждого слова, каждого выражения, так что несмотря на завитки и вычуры многих фраз, язык его -- образец отчетливости и ясности в изложении мыслей.

К. Полевой.

I.

Дербент, января 29 дня 1831 г.

Надобно любить людей, и людей изведать как я, почтеннейший Николай Алексеевич, чтобы понять отрадное чувство редкой встречи с душой благородною, с такою, какая видна в письме вашем. В доказательство как ценю я мнением достойного человека... отступим в минувшее, чтобы пояснить причину охлаждения, которое вы могли заметить во мне при начале 1825 года. В чистой памяти мне хочется плавать белым как лебедь, по крайней мере в отношении к святому чувству приязни -- одной приязни, для которой нет у меня упрека. Знакомство наше было коротко, но полно: никогда не забуду вечера, проведенного вместе на Невском Проспекте; я был тогда в воскипании несчастной любви, вы в струе доверия -- мы сердцем понимали друг друга! Я не из числа людей, пленяемых одною искренностью, на которую столь расточительны юноши; нет, надо было, чтобы другие достоинства увлекли чашку весов моих вверх, и она увлеклась вами не даром. Еще меньше могло на меня действовать забвение от заочности, от ветренности; но я был доступен со стороны доверчивости. Ф-в (вы угадаете имя), насказав мне о вас с три короба худого, поколебал новую дружбу (Ф-в -- Филимонов (Владимир Сергеевич), не так давно умерший, с которым Н. А. Полевой был в дружеских сношениях до 1824 года. К. П.). Я был Дон-Кихот бескорыстия, правдивости, и навет о лицемерии лег холодную тенью между нами. Это самое отразилось и в суждении Пол. Звезды -- сознаюсь в человечестве. Впрочем, если б я стал пересчитывать свои литературные промахи -- долга была бы моя исповедь. Я не оправдываюсь, извиняюсь только тем, что я ошибался простодушно. Много говорил я смело, но там, где еще сомневался, старина подсказывала на ухо похвалы вместо заслуженных насмешек; душа роптала, но языком новым, и я не всегда понимал ее: уста, еще влажные французским молоком, лепетали заученные песни. Я довольно жил после того, чтоб увидеть чужие и свои недостатки, убедиться в собственных несправедливостях; вычеркните же из числа их сомнение о вашей нравственности. Если б и не рассудил я после, что Ф. был пристрастный судья в своем деле, если б и не узнал я, что рассказы его были вздорны, то последнее творение ваше доказало бы мне истину. Безнравственник может написать прекрасную статью об электричестве, о хозяйстве, но поэма, но высокий роман, но история не знают личин. Я верю, что автор есть книга и наоборот; она не всегда мерило его способностей, но едва ль не всегда образчик его нрава: одно выражение обличает самого опытного притворщика.

Так, в пошлом нашем времени, немногие поймут вас, еще менее оценят; но что эти немногие суть, в этом я вам поручаю: в глуши ощущения самороднее, независимее от наитий журнальных, и эти ощущения говорят в вашу пользу. Насчет пустынночества, не знаю, поздравлять ли или пожалеть вас: общество без людей -- пески Пальмиры: они засыпают душу бесплодием, -- но как не пожалеть, что нет людей, с которыми бы лестно было встретиться и полезно жить!! Я думал лучше о настоящей Москве; но, видно, она все еще Нащокинский шут с разжумяненными щеками на дряхлом лице, шут, который в одно и то же время поет "Уж не будут орды Крыма", и "Halte la, Halte la"...

Вы жалуетесь на бесхарактерность нашей настоящей словесности; но может ли быть иначе, когда Булгарин

знаменщик прозы, а Пушкин ut-re-mi-fa поэзии? Второй из них человек с гением, первый с дарованием, и если между ними есть линия сравнения, так это шаткость обоих; оба они будто заблудились из XVIII века, несмотря на то, что вдохновение увлекает Пушкина в новый мир, а сметливость заставляет Булгарина толковать об усовершенствовании и прочем условном нового учения; но первый не постиг его умом, второй не проникнулся его чувством. Что такое поэма Пушкина? -- Прелестные китайские тени. -- Что такое романы Булгарина? -- Остроумный подбор на заданные рифмы. Вы видите как он все за волосы тащит к одному припеву и забавно как влагает он речи, изобретенные в позднейшие годы, в уста монаха и боярина, стрельца и мужика, без различия. Из книгопродавческого объявления о Далай-Ламе, бесконечном Выжигине, вижу, что он торопится плыть по ветру. Наполеон, обманутый рассказами своих агентов, идет на Россию -- какая нелепая мысль! Если бы Россия была в пять раз сильнее, чем она была, Наполеон пошел бы на нее тем охотнее: он не терпел совместничества, и чем труднее успех, тем лестнее была для него победа. Если б он верил, что Россию можно завоевать своими светлыми очами, он не двинул бы на нее всей Европы. Я уверен, что Булгарин не пожалеет ладону русскому дворянству, хотя оно, право, не так было бескорыстно и великодушно, и я многих видел вздыхающих в 12 году о своих жертвах. Что до меня, я считаю нашествие Наполеона на Россию одним из благодетельных зол, посылаемых Провидением. Гром Бородинский пробудил спящего великана Севера.

О литературных сплетнях прошу извещать меня очень и очень: "homo sum, humani nihil a me alienum puto". Когда-то и я жил в печатном свете; теперь вовсе чужд ему. Я, как проснувшийся Рип-Ван-Винкль Ирвинга, вижу ту же вывеску на трактире, но уже новых гостей за кружкой. Разгадайте мне одну загадку: отчего, при такой сильной жажде к чтению, такая засуха на дельные вещи? Журналов, журналов сметы нет; а раскусить -- свищ. Кинулись в писательство романов как в издание альманахов, советуясь больше с барышом, чем с дарованием; но долго ли подержится этот снежный валтеризм?

Теперь слово о себе. Надобно вам сказать, что великодушные государя извлекло меня, в конце 1827 года, из башни, воздвигнутой на одной из скал Балтики, и накануне 1828 г. я прибыл в место вам знакомое -- в Якутск (Н. А. Полевой никогда не бывал в Якутске. Он родился в Иркутске и в юные годы выехал оттуда в Россию. К. П.), в место, назначенное для моего жительства. Там я отдохнул душой, ожил новою жизнью. Все краткое лето провел я на воздухе, рыща на коне по полю, скитаясь с ружьем по горам. Бывало, по целым часам лежал я над каким-нибудь озером, в сладком забытьи, вкушая свежий воздух -- отрада, неизвестная для других. Я ничего не делал там: так я был занят свободой; только выучился хорошенько по-немецки, изучал Шекспира, и стал было разбирать Данта в подлиннике; но с силами загорелось опять желание боевой жизни; я просился в ряды -- мой голос был услышан. В два месяца я от полюса перенесся к Арзеруму, и видел все прелести войны в Байбуртском сражении; потом топтал развалины царства Армянского, проехал завоеванную часть Персии, и наконец очутился здесь сторожем Железных ворот, за которые напрасно рвется мое сердце. Бог один знает, что перенес я в эти пять лет; строгое испытание ждало меня и здесь, но крыло Провидения веяло надо мною, и я не упал духом: казалось, он закалился в туче страданий. Я совлекся многих заблуждений, развил и нашел много новых идей, укрепился опытом, и вера в Провидение, зиждущее из частных бед общее благо человечества, и любовь к этому слепому человечеству греют, одушевляют меня посреди зимы моей участи. Даже воображение мое, паж-чародей, порою приподнимает цепь судьбы как хвост знатной дамы, и я не слышу тогда ее тяжести. Что будет вперед, не знаю, но умею жить и без надежды. Всего более досаден недостаток книг; кочевая жизнь лишает возможности запастись ими, а неуверенность в завтра отнимает охоту писать. Да, признаюсь, и самому совестно рассказывать побасенки в наш век, когда чувствуешь, что не совсем бездарен на дальнейшее; но что сделаешь без книг? Они необходимы и для освежения ума и для справок памяти. О, как бы жаждал я укромного уголка подле вас: я бы предался совершенно, учению, в котором чувствую необходимость. Сюда же долетают только блестящие, падающие с платья новой литературы. Посылаю, что случилось готовое: не осудите. Тетрадку и стихи под литерою а прошу не ставить в счет. Пожалуйста не думайте, чтоб я считал посылаемые безделки за что-нибудь достойное; я чужд мелочного самолюбия, и если решаюсь печатать их, так это потому, что смеялся сам писав их, и может быть рассмешу читателей, а смех, право, находка (В упоминаемой здесь тетрадке находятся: "Объявление Общества приспособления точных наук к словесности", "Рекомендательное письмо" и стихотворение: "К облаку". Подлинная рукопись сохранилась у меня. К. П.). За предложение насчет комиссий словесных благодарю братски: постарайтесь же купить в счет Историю Римскую Нибура и еще какой-нибудь дельный увраж по своему выбору. Скоро надеюсь прислать что-нибудь

получше, хоть и в журнальном роде. Неохотно расстаюсь с проводником умственного электричества, с пером: так многое имел бы сказать, но отложим до другого раза. Берегите здоровье для пользы общей, для которой вы его разрушаете, и будьте счастливы, сколько можно им быть в нашем веке и в нашем мире. Этого желает душевно уважающий вас

Александр Бестужев.

II.

Дербент, 12 февраля 1831 года.

Охотно, но неожиданно, пишу к вам, почтеннейший Николай Алексеевич. Тому виной 2-я глава Андрея Переяславского, напечатанная без воли моей. В прилагаемом оправдании (Под заглавием. "Несколько слов от сочинителя повести: Андрей, князь Переяславский". Рукопись его сохранилась. Это и другие упоминаемые здесь сочинения Бестужева постепенно были печатаемы в Московском Телеграфе. К. П.) прочтете искреннее мое признание, каким образом я написал ее; но кто ее напечатал -- до сих пор не только не могу дознаться, но даже догадаться. Если можете, поясните мне дело. Он написан был в 1827 году, в Финляндии, где у меня не было ни одной книги; написан был жестяным обломком, на котором я зубами сделал расщеп, и на табачной обертке, по ночам. Чернилами служил толченый уголь. Можете судить об отделке и вдохновении! Апелляцию мою напечатайте поскорее, и не в счет абонементов -- это мое, не ваше дело. Если найдете лишний уголок, приклейте два прилагаемые отрывка из Андрея; лучше заранее послужить ими добродушному человеку, чем видеть их в чужом журнале как переметчиков. Письма к Эрману надо бы погладить, но, право, некогда. Я надеюсь, вы получили уже за две недели пред сим посланные пьесы? Ни от вас, ни из Петербурга мы не получили еще журналов; трудно представить себе, как неисправны здесь почты. Иногда нет писем два месяца, и потом вдруг полдюжины. У меня пропали даже деньги и посылка: надобно быть здесь, чтобы поверить, в каком хаосе находится этот край.

Перечитываю письмо ваше. Так, вы правы: мы не можем быть долговечны литературною жизнью; мы мыслим и говорим языком перелома; наш период есть куколка хризалиды, обертка необходимая, но пустая, и будущее сбросит ее в забвение. Мы -- летучие рыбки: хотим лететь к солнцу и падаем опять в океан; со всем тем, наше призвание жить этою двойственною жизнью; покоримся ему. Если нельзя нам ни именами, ни мыслью пробиться в будущее, постараемся по крайней мере разгадать что было, и быть ровесниками настоящего. Вы избрали прекрасную стезю для первого: историк -- пророк минувшего, сказала М-ме Сталь, и справедливо. Для человечества желаю вам успеха.

Я читал в Галатее, критику на вашу историю: как это жалко написано! Кстати о ней: вы где-то сказали, что у нас считались за грех лепные изображения святых; хорошо ли вы это исследовали? В 1823 году я шарил по Софийскому собору в Новгороде, и там, на чердаке одного купола, нашел целые поколения резных святых из дерева, величиною аршина по два и более. Помнится, мне рассказывал монах, что они стояли в церкви, и лишь во времена Никона, если не позднее, их заточили в кладовые... Спросите о том преосвященного Евгения. Еще статуи многих святых, как например Симеона Столпника и иркутского чудотворца Иннокентия, до сих пор стоят по церквам, из воску, хотя небольшого размера (NB. есть и в Казани лик св. Николая такой же), и вообще я полагаю, что если и было гонение на истуканные изображения угодников, то не повсеместно и не одновременно. Предоставляю себе удовольствие сделать еще несколько вопросов о мелочах русской истории, когда получу ее от вас. Я не имел ни досуга, ни терпения, во время оно, философически разложить оную, но романтическую и материальную часть исследовал порядочно. Изучение одежд и оружия всех народов было моею любимую главою, и потому позвольте вам сказать, что вы напрасно дивились, что мои Половцы в Андрее Переяславском выехали на разбой в туфлях; обувь Черкес и доселе не что иное как туфли, и даже турецкие всадники, когда намереваются действовать пешком, то выезжают в туфлях. Напрасно, например, и Булгарин вывел своего русского Хлопка с двухствольным ружьем: я бьюсь об заклад, что во всем свете нет двухствольного ружья старше 130 лет. Это мой конек, Николай Алексеевич, и самый невинный: не сбивает и не брыкается. Когда-то замышлял я сесть на борзого... писать историю Новгорода, моей родины... но и тогда я не иначе бы принялся за труд, как поверив на месте все подробности, и долго, пристально погружаясь во тьму летописей, с фонарем критики. Видно, это не моя судьба, и может быть для моей же пользы. Теперь я чувствую в себе какой-то окисел английского юмору, излишки во всем для меня смешны; но если я чего не прощаю людям, которые пишут у нас взапуски, так это недостатка мыслей, даже способности

мыслить. Страница, которая не заставит меня подумать о чем-либо, в каком бы роде ни была, для меня хуже воровства. Мошенник крадет деньги, но деньги вещь нужная, а время кто мне отдаст? Я лучше буду строить замки в дыму трубки моей, чем молотить пустую солому.

Вы великодушно вызвались быть моим комиссионером по словесности, я вам наскучу по вещественности... Впрочем, в этой статье обращаюсь к братцу вашему Петру Алексеевичу: ему верно, более досуга, и я так уверен в фамильной доброте вашей, что не сомневаюсь в его расположении одолжить человека, не имеющего средств сделать этого иначе. Он критиковал меня когда-то (Петром Алексеевичем называл он, по незнанию настоящего имени, Ксенофонта Алексеевича, и очень мило упоминает об этом сам, в одном из следующих писем. О критике на его статью в 1824 году, можно найти пояснение в предисловии к этим письмам. К. П.), но я никогда не имел слабости сердиться за критику. Я полагаю, что мы ударили с ним по рукам, и потому прилагаю списочек нужных предметов. Здесь вовсе ничего нет.

По рубленому слогу этого письма угадать можете, что я не в своей тарелке, а скорее в чужом котле: это от неприсылки приятных вестей от родных и получении здесь неприятных. Дай Боже, чтобы в недрах своего семейства вы были недоступны им. В ожидании рассказов о новых литераторах, с нетерпением пребываю, искренно уважающий вас

А. Б.

Р. С. Иван Петрович свидетельствует свое почтение.

III.

Дербент, 23 апреля 1831 года.

Христос воскрес!

В праздник обновления природы, мыслью обнимаю вас, почитаемый Николай Алексеевич, обнимаю и братца вашего: поцелуй этот не целование Иуды. На второй день, я, вместо красного яичка, получил от вас книги и письмо; благодарен за первые, за другое вчетверо: теперь светлая неделя будет настоящим праздником для моего ума и сердца. Поговорим о последнем.

Знал я, что грустно вам будет открытию злословия и в ближних, в близких, но мы уже не дети, и я принял за правило говорить людям, которых уважаю, правду без завета: полынь горька, но крепительна, и лишняя цифра, отнятая у приятного заблуждения, множит сумму положительных познаний. Не в других, в самих себе должны мы искать точку опоры, если хотим сохранить свою независимость в мнениях, в поступках, и скорее остаться одному в пустыне, чем плясать около золотого тельца с толпою. Вы делаете что я говорю.

Человечество есть великая мысль, принадлежащая собственно нашему веку; она утешительна! Быть убеждену, что если один народ коснеет в варварстве, если другой отброшен в невежество, зато десять других идут вперед по пути просвещения, и что масса благоденствия растет с каждым днем, (это) льет бальзам в растерзанную душу частного человека, утешает гражданина, обиженного обществом. Но все это лишь в отношении к будущему, которое не должно и не может уничтожать настоящих обязанностей человека. И вот почему я был горячим ненавистником немецкого космополитизма, убивающего всякое благородное чувство отечественности, народности. "Lassen sie es gehen und untergehen", -- прелестное правило: оно во сто раз хуже турецкого фатализма! "Провидение знает когда и как лучше сделать хорошее или истребить дурное", говорят они, "следственно все когда-нибудь и без нас будет лучше, или не улучшится, несмотря на нас." Это совершенный pendant к Омарову изречению при сожжении библиотеки Александрийской. Мы видели, до какого унижения довело это бесстрашие Германию во время Наполеона!

Но я знал людей и прежде, я не разлюбил человечества и теперь; отношения мои к ним были не шапочные: я был обязан рассекать сердца многих, как насекомое, для исследования; видел его ничтожность, и оттого мало ошибался, что мало от людей ожидал. Я убедился, что нельзя полагаться на правила, но можно вычислить страсти их, обращать на пользу общую не добродетели, а слабости. Одна беда: я слишком верил силе разума, убеждению очевидности в той и другой стороне, и решение задачи не оправдало данных. Это изменило образ моего воззрения на пороки и доблести, на злобу и доброту... Мне кажется и верится, что все благое, изящное, великодушное есть ум, есть просвещение. Все злое, порочное, мстительное -- глупость в разных видах, близорукое умничанье и самый плохой расчет. Я готов математически доказать свое мнение,

практика давно меня оправдала.

Вы говорите, что положение мое поэтическое; не сказать ли вам стих Дмитриева: "Для проходящих!" Вся жизнь моя была исполнена если не положений, то впечатлений сильных, странных, -- остальные шесть лет особенно; однако ж пользоваться ими надо после: в бурю нельзя писать картины, и вихорь несчастья возмущает душу, слепит на время ум. Дайте всему этому отстояться, и тогда... тогда!!! а в ожидании зари, читайте каракульки, писанные в пролеске. Бездна сдвигает около меня горизонт, и отлученный от всех приманок известности, от всех подстреканий разбитого конька-дарования, я не редко впадаю в какую-то беспокойную дремоту. Лень писать, лень говорить, даже думать. Дремота эта тем несноснее для меня, что она неразлучна с упреком за бездействие. Чувствую, что я получил душу для работы ей свойственной, что она Богом отдана мне на воспитание, что ей необходимо движение вперед для здоровья, для счастья внутреннего. Но с этим соединяется желание освежить душу дружескою беседою, черпать, чтоб не истощиться, и желание напрасное, жажда неутомимая. Скажу ли? сердце мое просит любви... последние годы, в которые я мог бы ожидать ее взаимно, вянуть! Зачем, зачем шипы переживают цветок, зачем не гаснет огонь, когда он не может светить другим!

Очень благодарен за предложение присылать книги на прочтение, но принять его невозможно. Я сегодня здесь, завтра Бог весть где, и завися от каждого, не властен даже иметь с собою что-нибудь. Та же причина заставляет меня со вздохом сердечным отказаться от жемчужин слова и ума. Я и без того бросил много книг в Якутске, много в Тифлисе. В первом жил я с бывшим графом Чернышевым, и от него пользовался всеми классиками в оригиналах... Теперь со мною несколько томов Гёте, Шиллера, Байрона, отрывки из литературы английской, Мур и несколько книг натуральной истории. Французским пользуюсь от Ивана Петровича, между коими много дельных, но вовсе нет исторических. Если найдете Байрона в одном волюме, приценитесь: издание это ноское и полное. Немецких книг жду из Питера. Хочу учиться по-арабски, и уже порядочно понимаю по-татарски. Впоследствии буду просить об Итальянцах, коих бросил за неимением и книг и лексиконов; надо примолвить: и досуга. Вперед прошу вас, любезнейший Николай Алексеевич, присылать, что особенно дельно... от соусов по необходимости должен удержаться. Годунов однако ж не в числе их, и потому пришлите... Впрочем зная ваши занятия, не рассержусь, если вы забудете мои комиссии, только, ради Бога, не забывайте искренно любящего и уважающего вас

А. Бестужева.

IV.

Дербент, 28 мая, 1831.

Жду не дождусь возвещенного вами письма, почтенный Николай Алексеевич! Получил табак, получил книги, получил сафьян, а то, чего желаю всего более, медлит. Вас не виню, но досажую на почту тем не менее: она у нас, упаси Бог, какая причудница! И то сказать: Кавказ теперь в таком волнении, как не бывало лет двадцать. Даже самая мирная дорога между Кизляром и Дербентом запала: неделю назад разграбили почту и убили одного казака, следственно письма наши, которые ходили прямо, теперь станут колесить через Тифлис, то есть пропутешествуют, может быть, лишний месяц: немного отрады!

Мы получили No 5 Телеграфа и старый за ноябрь. Скажите пожалуйста: кто такой Вельтман? Спрашиваю, разумеется, не о человеке, не об авторе, а просто об особе его. С первыми двумя качествами я уже знаком, могу сказать дружен, хочется знать быт его. По замашке угадываю в нем военного; дар его уже никому не загадка. Это развязное, легкое перо, эта шутовость истинно-русская и вместе европейская, эта глубина мысли в вещах дельных, как две силы центральные, то влекут вас к душе, то выбрасывают из угрюмости: он мне очень нравится. Прошу включить Странника в число гостинцев. Еще вопрос: кто пишет юмористические статьи Живописца? В нем различаю двух, одного, который взял за образец аллегория Спектатора, род немножко поизношенный. Другого кисть оригинальнее, бойче, новее. Г. Ушаков по мнению моему, лучший писатель нежели критик. В разборе его Самозванца, впрочем, есть много мыслей вовсе ложных, особенно насчет мнений русского народа. Ничто так не вредит наблюдениям, как заготовленное наперед понятие о вещах и людях: это сито для сортировки жемчужин пропускает только известной величины и круглоты перлы. Я читал из Киргиз-Кайсака только две главы: очень, очень милы; нельзя ли и его послать попотеть в Дербент?.. У нас уже начались слитные жары, миллионы роз клонят уже свои головки, и зеленый мундир весны линяет как сукно русского квашенья. Хвалынь наша немножко оживилась судами, которые построены

по модели корабля Язона и ходят едва ли не с такими же способами: удивительное постоянство! В газетах, правда, два года назад возвестили, что здесь будет прогуливаться пароход; но так как это уже напечатано, никто о нем не заботится, и необходимого этого парохода слыхом не слыхать. Грозится какое-то общество устроить по каспийскому побережью свои фактории для торга с Персией: пора бы давно за ум взяться! Все это однако ж через пень колодой валится. Мудрено ли, что здесь дороги русские изделия, когда каждая арба платит, на расстоянии 275 верст от Кизляра до Дербента, 20 р. серебром пошлины, берут в городах за ввоз и вывоз, берут и частные владельцы за провоз (транзит) через их земли: Дагестан в XIX веке еще не ушел от библейского устройства мытарей!.. Я готов головой ручаться, что государь об этом не знает; это слишком резко, чтобы могло быть под европейским правлением.

Про себя не смею, по крайней мере краснею говорить: какая-то летаргия умственная как жернов лежит на мне, и я почти ничего не писал. Хочется мне написать что-нибудь поделнее для посвящения вам. В начале года я думал, что буду иметь более досуга, сильнее стремление к труду; вышло наоборот: ни того, ни другого. Во всяком случае я сдержу свое слово и не уклонюсь от вашего; не сегодня-завтра, а все-таки своих рекрут выставлю; я надеюсь, что вы примите если попадутся беспалые и без зубов. Здоровье мое плоховато: порой я чувствую себя и гляжу молодцом, но это ненадолго; некупленные хворости кабелят меня понемногу; особенно весна и осень для меня трудны бывают; видно, и разрушение, так же как развитие человека, имеет свои цветы и плоды ежегодные. Скажите как идет ваше здоровье? Спрашиваю об этом как человек, искренно вас любящий, и как эгоист, желающий от вас щечиться долго и часто питательным чтением. Не знаю как вы Николай Алексеевич, а я в недуге никуда не гожусь для письма; воображение мое тогда запирает на запор двери, как московская дама от холеры. Может статься, с летами я и свыкнусь с такими гостями как Гоффман, но до сих пор они для меня хуже злого Татарина. Кстати о Татарах: со всем моим желанием выучиться языкам восточным, вижу, что не здесь гнездо их, и не у меня средства! Вообразите себе, что арабский словарь в Петербурге стоит 350 рублей... а дербиджано-татарского не нашли нигде, а невежество ученых Татар насчет и своего, и фарсийского и арабского -- невообразимо: никакой идеи о грамматике; просто никакой идеи ни о чем; и не могу понять, как столько веков не расширили этих пустых мозгов! Болтая по-татарски, я нашел однако ж кучу слов их, запавших в наш язык так глубоко, что никто не сомневается об их некрещенном происхождении. Но полно на этот раз. Поклон и благодарность братцу вашему. Будьте счастливы.

Много уважающий вас А. Б.

V.

Дербент. 9 июня 1831.

Вероятно вы ждете моих, а я не получаю ваших писем, почтенный Николай Алексеевич! Бог судья нашей почте. Не знаю, что бы случилось и со всем Закавказским краем, если бы эриванский герой еще года два здесь остался. Кто приедет сюда управлять Грузией, будет ему хлопот вдоволь, и в военном, и в гражданском отношениях. Дошло до того, что деревнюшки, которые уже 50 лет в грязи ползали, теперь возмутились и нападают врасплох на рассеянных солдат. Кази-Мулла, побитый нашими в Тарках, поднял Чечню и теперь держит в осаде Грозную и Внезапную. Кажется, миновало то время, когда с одной ротой кавказские Русаки творили чудеса. Горцы как ни глупы, но их не побьешь как Турок. Много бы, много мог я сказать вам о подвигах наших в Персии и в Турции, но ограничусь только замечанием, что Пушкина напрасно упрекают за бесчувствие к славе Русских. Самое жаркое дело, какое я видел в 1829 году, сказал он, "происходило между русскими казаками и егерями, которые подрались за брошенные пушки". Откуда же взять вдохновения? Грустно, любезный Николай Алексеевич, когда и в военном мире найдешь разочарование, когда в баловнях славы увидишь глину горшечную, и слепую фортуна, без умысла производящую следствия изумительные! Здесь-то оправдалась пословица, что не родись умен, родись счастлив... Трудную, многотрудную взяли вы на себя обязанность писать современную историю. Для того, кто видал как сочиняются реляции, не пойдет в руки ни одно описание сражений: про другое нечего и говорить; надо петь только: За горами, за долами!

Вот уже два месяца не получает здесь никто Телеграфа, и это заставляет нас беспокоиться насчет вашего здоровья, даже более чем здоровья. Дай Бог, чтоб опасения добрых людей и добрых знакомцев ваших остались одними опасениями. Я бы молился за вас, если бы был вашим врагом -- польза общая впереди всего; можете поверить, что желание знать вас здоровым и счастливым тем искреннее, чем более вас люблю. Я

получил Годунова, получил Петра Ивановича; поглотил первого и не сыт; грызу второго и не варится в желудке. На днях ожидаю Рославлева -- поглядим, каковы московские рысаки!.. Сам я поражен спячкою душевною... Несколько раз спрашивал себя, не следствие ли она сознания в собственном ничтожестве? Весы колеблются: ум говорит почти да, но в душе что-то шевелится похожее на veto. Этот горький укор не может происходить от одного самолюбия:

Блажен, кто светлою надеждой обладаем

Безвредно всплыть над океаном тьмы:

Чего не знаем мы -- употребляем,

И невозможно то, что знаем мы!

(подр. Гёте.)

Признаюсь, я с нетерпением ждал совета вашего для какого-нибудь основательного труда. Во мне главный порок -- нерешительность выбора: хочется и того, манит и другое, да и вообще я мало изобретателен; лучше могу схватить и развить чужое начало, чем свое. Теперь пишу для вас повесть: Амалат-Бек; кончил четыре главы, но мало досуга. Какова выльется, не знаю; рамы впрочем довольно свежие, из горного дерева. В Сыне Отечества повременам печатаются мои стиховные грехи, но от опечаток, и в прозе и в виршах, житья нет. В одной пьесе, например, в 22-м No, вместо "В небе свит туманов хор", поставлено: В небе свист, туманов хор. Ник. Ив., кажется, верует, что в поэзии не должно быть смыслу, и потому какую бы чепуху ни наврал корректор, он не заглянет в рукопись. Какими шагами идет ваша История в письме и в печати? Вы нас разлакомили -- душа еще просит. Перебирая старые Телеграфы, я нашел многие очень европейские критики В. У. (Василия Ушакова), и потому каюсь, что я, судя по некоторым из новых его же, сказал, что он лучший автор чем критик. Si je la'i dit, je m'en dedis. Говоря о журналах: С.-Петербургский Меркурий знаете ли кем издавался в сущности? Отцом моим, и насчет покойного императора. Вот что подало к тому повод. Отец мой составил Опыт Военного Воспитания и поднес его (тогда великому князю) Александру. Александр не знал как примет государь-отец, и просил, чтобы сочинение это раздробить в повременное издание. Так и сделано. Отец мой был дружен, даже жил вместе с Пановым, и они объявили издание под именем Панова, ибо в те времена пишущий офицер (отец мой был майор главной артиллерии) показался бы едва ль не чудовищем (Здесь, не имея под рукою справочных книг, А. А. Бестужев ошибся в именах: не С.-Петербургский Меркурий, а С.-Петербургский Журнал издавал, и не Панов, а Пнин, известный в свое время образованный и смелый литератор, побочный сын Репнина. События конечно были таковы, как излагает автор. Далее упоминание об Исповеди Фон-Визина доказывает, что он разумел журнал Пнина, где в первый раз она была напечатана. К. П.). Я очень помню, что у нас весь чердак завален был бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодovitостью Александр Ефимович: я не один картон слепил из его сказок. За Исповедь Фон-Визина отца моего вызывали на дуэль; переписка о том была бы очень занимательна теперь, но я как Вандал все переклеил, хотя и все перечитал: ребячество не хуже Омара. Впоследствии государь обратил в пенсион деньги, выдаваемые на издание, которые отец мой и получал до смерти. Отец мой был редкой нравственности, доброты безграничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тогдашнего времени были его приятелями: я ребенком с благоговением терся между ними. Но об этом до другого случая. Теперь я рад, что вам, современнику моему, дружески могу сказать: будьте счастливы.

Вам сердцем преданный А. Б.

VI.

Дербент, 1831 года, августа 13 дня.

Не приложу ума, почтенный Николай Алексеевич, что значит молчание ваше? Не постигаю причины, почему бы вам запретили писать ко мне о словесности; а кроме этой случайности, другой вероятной не вижу. Во всяком случае я жалею душевно, что лишен беседы с человеком столь просвещенным, столь полезным.

Получил на прошлой почте III том вашей Истории Русского Народа. Я не жан-полист и не большой руки плакса, но желал бы, чтобы вы видели слезы умиления, уроненные неслышно на многие страницы ваши. Вы одушевились, кажется, духом Мстислава Удалого, отомщевая память его, закиданную веками и очерненную историками... Что может быть святее, утешительнее долга для писателя: воздавать каждому свое, "не

умствуя лукаво" -- и вы исполнили этот долг. Поздравляю вас!.. Я убежден, что в тиши своего кабинета, наедине с душой своею, вы счастливы откровениями ее, озаряющими как молнии тьму веков; вы заплачены ими за брань и лай нашей критической псарни.

Получен и No 7 Телеграфа -- очень мил. Если не ошибаюсь, сцена из обыкновенной жизни -- ваша? Прикидываю себя к разным лицам ее и нахожу в себе грань каждого -- не знаю, чего во мне нет? Я настоящий микрокосм. Одно только во мне постоянно -- это любовь к человечеству, по крайней мере зерно ее, потому что стебель носил цветы разнородные, начиная от чертополоха до лилии. В библиографии вы не перестаете расстреливать бездарность, несмотря на то, что запрещено бить дичь в мае месяце. Подделом им! Никогда еще не бывало в печати такой тьмы нелепостей! Это доказывает вместе и жадность читать и чесотку писать их, то есть растущую массу посредственности... Черепашьим, чтоб не сказать рачьим, ходом идет у нас просвещение... Но об этом после.

О Годунове долго не мог я дать сам себе отчета -- такое неясное впечатление произвел он на меня. Я ожидал большего, я ожидал чего-то, а прочел нечто. Тьфу ты пропасть, думал я, неужели ли я окончил в Якутске и зачерствел здесь чувством к изящному; но, хоть убей, а не нахожу тут ничего кроме прекрасных отдельных картин, но без связи, без последствия; их соединила, кажется, всемогущая игла переплетчика, а не мысль поэта... Впрочем, я доселе еще не совсем доверяю себе... Избалованный Позами и Теллями и Ричардами III, я, может быть, потерял простоту вкуса и не нахожу прелести в вязиге. Разрешите мое сомнение о пьесе, про которую сам Пушкин, в 1825 году еще, писал ко мне: "Впрочем, это все игрушки (он разумел о мелких своих поэмах), я занимаюсь теперь трудом важным: пишу трагедию Борис Годунов." Следственно он отделявал его *сop amoge*, и в некотором отношении она может служить мерою его творческого духа!

В других стихотворцах не вижу ничего хорошего особенно. Гладкие стихи, изредка чужая мысль, и та причесана, завита так, что Боже упаси:

Литература наша -- сетка

На ловлю иноморских рыб;

Чужих яиц она насадка,

То ранний цвет, то поздний гриб,

Чужой хандры, чужого смеха

Всеповторяющее эхо.

Та беда еще, что не выбирают хорошего для подражания. Далась им Уланды, Ламартинцы, как будто на свете не существует ни Шекспира, ни Шиллера, ни Данте, ни Байрона. Отчего происходит это? От малознания ли языков, или оттого, что не по силам поднять исполинское бремя гениальной мысли? Кстати: кто таков Шевырев, который пальнул в вас с холма Капитолия?.. Его похваляют иные журналы; я ищу его стихов и не нахожу. Вельтман будет милый стихотворец; но ежели пойдет столбовою дорогой наших поэтов, то не выбьется из милых. Стихотворные повести пленительны у Байрона и Вальтер Скотта: у первого глубокими чувствами, у второго подробностями, но без того и другого они могут тешить одно любопытство. Вообще, мне проза Вельтмана и шуточные стихи больше нравятся чем долгие его стихотворения. Не включаю в то число Искандера: тот очень поэтичен, хоть и в прозе.

При сем письме получите пять глав повести: Аммалат Бек. Остальные непременно через две недели пришлю. Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля... как и за что? позвольте вас помистифировать до поры до времени. Если найдете, что повесть эта слишком длинна для вашего журнала (в ней будет не менее 12 печатных листов), прошу вас отослать к Гречу, приписав, что она *a parte*, то есть не в счет года. Издатели альманахов подъезжают с предложениями -- да Бог с ними: не под лета дедушке плясать с внучками. Притом же г. Аладьин отучил меня от излишнего доверия к литераторам. Насчет моих статей, в стихах ли, в прозе ли, пожалуйста не церемоньтесь: чуть плохи, чуть не соответствуют цели и составу журнала -- в сторону их. Я не из числа тех мелочных людей, которые со всякою строкой своей носятся как с писаную торбой. Об одном просьба:

уведомляйте о пьесах, которые выпустятся, они могут уйти у меня как товар. Я живу в такой стороне, где деньги после Бога первая вещь, да в какой стороне это иначе?

Кавказ мятется, дорога западает, и Кази-Мулла, неутомимый фанатик, как гидра машет новыми головами из всех ущелий. Поэтому прошу вас, если будет что посылать, цените по ценности, чтобы не остаться внакладе. У нас в Дербенте почтмейстер промотал разных денег и посылок тысяч на двадцать; в том числе я потерял на 800 рублей -- и нет никакой расправы. Это обстоятельство я заставляю меня думать, не попались ли ваши письма в его печь алхимическую... очень бы желал хоть слово услышать о том. Мне порой даже вспадеет на мысль: "уж не рассердился ли Николай Алексеевич, что я замучил его поручениями!" но потом мысль эта тает снегом перед уверенностью, что человек, который так радушно вызвался и так скоро исполнил, мою первую просьбу, (не) мог измениться в два месяца. Ставлю себя на ваше место -- я успокаиваюсь. Иван Петрович, душевно уважающий вас и свидетельствующий вновь свое уважение, просит по прилагаемому списку искупить вещи, требующие и вкуса и глаза при выборе, и потом приказать бережно запаковать в ящик для отсылки. Цену покорнейше прошу выставить в счет, который ожидаю. Любезному братцу Петру Алексеевичу привет душевный -- вам обоим желание счастья! Дай Бог, скоро его залучить к себе и долго, всегда владеть им!

Преданный вам А. Б.

VII.

Дербент. 1831 года, сентября 26 дня.

Пишу к вам на лету, почтенный Николай Алексеевич; собираюсь на Горцев и ожидаю для разрешения на поход генерал-адъютанта Панкратьева, управляющего ныне Закавказьем. Он пришел сюда на Самбур и занемог крепко со всем штабом и домом своим от мала до велика -- доказательство благоразвора здешнего климата. Не браните меня, что долго не слал окончания Амалата (при сем прилагаемая). Кази-Мулла держал нас 8 дней в осаде и дело тогда было не до перьев. Почти каждый день под стенами города у нас были гомеровские стычки с неприятелями, при коих и ваш покорнейший не упускал случая порыскать. Горцы готовились штурмовать город, настроили огромных лестниц, навязали фашинов и бежали, слышав приближение генерала Коханова с отрядами. Досуга и потом было мало, да, кроме того, почта не ходит сюда от Кубы уже 7 недель, ибо казацкие посты сняты, и я отправляю это письмо с нарочным в Кубу, откуда уже оно примет ход по мытарствам обычною стезею. Боюсь, что мои Дагестанец слишком дорожен для Телеграфа? В таком случае отдаю на вашу волю и попечение: печатать ли его у себя или особо, или отослать к Гречу, перед которым, за хлопотами службы, я виноват за этот год -- послал одну безделку... Не знаю, как покажется он вам?.. Сдается мне, что характер Амалата выдержан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга. Правда, что рамы не позволили мне развернуть его, но что ж делать? Мало по малу я чувствую, что мне надобно писать роман, ибо предметы мои разрастаются не путем, и, подрезывая ветки у них, я безображу целое. Предаю в вашу руку все запятые и мелочные ошибки: право, некогда ни переписать хорошенько, ни просмотреть и того, что написано. Военная служба составлена из сетки мелочей, в которой много бесполезных дыр досуга, но еще более обязанностей, связывающих вас на каждом часу: "Дела не делай, а от дела не бегай -- вот ее девиз. Чтобы не выбочить (?) с дороги поручений: скажу вам откровенно, что я в это время обезденежал... Если можете, пришлите сколько будете в состоянии, адресуя на мое имя, ибо Иван Петрович идет в поход и Бог весть когда воротится в Дербент. Адрес делайте следующий: Александру Александровичу Бестужеву, в грузинский линейный № 10 батальон, в Дербенте. Для верности требуйте, чтобы при сем посылалась расписка, долженствующая возвратиться к вам от получателя. Эти предосторожности необходимы в здешнем краю, ибо я в течение полутора года имею уже на здешнюю почту на 1.100 рублей претензий за растроченные и украденные разными почтмейстерами деньги. Между прочим покойник дербентский расхитил на двадцать две тысячи... Нас уверяют, что мы будем удовлетворены... я только пожимаю плечами.

Что сказать вам о состоянии здешнего края? Паскевич, отдав свою доверенность людям, которые всего менее ее заслуживали, довел Кавказ до высшей степени расстройств. Прошлый 1830 год был гибелен для Русских не одною холерою. Побоище под Закаталами не имело примера в летописях военных, и придало дерзости Лезгинам, как нельзя более. Поход графа за Кубань, без цели, как и без пользы, кончился важным для нас уроном, когда мы не видали Кабардинцев в глаза. Разбои по линии и по военной дороге возросли.

Наконец мятеж всего Дагестана довершил картину. Кази-Мулла осаждал и едва не взял Бурную, и дерзнул явиться под Дербент, не выдавший неприятеля под стенами 27 лет. К счастью, что государь вверил управление сего края генералу Панкратьеву, человеку, соединяющему в себе все познания гражданской службы с решимостью и взором военным. Надеемся, что он поправит дела. Теперь думаем идти в горы: неприятель наблюдает в 15-ти верстах от Дербента, укрепляясь главными силами в местах, всего менее приступных, и кажется, много крови прольется на землю, прежде чем снег ее покроет. Дожди льют ливни.

Недавно я читал Телескоп; в нем есть дельные статьи, но этот грязный дух партий, в нем первенствующий, несносен. Он, кажется, хочет строиться из ваших развалин?.. Не высоко же ему подняться. Я думаю, публика не поддастся на слово г. Надеждина. Журналов и газет не читал уже девять недель, и потому о текущей словесности ничего не знаю.

Я замучил вас поручениями, наскучил вам письмами, и все-таки уверен, что вы не досадуете ни на то, ни на другое. Примите уверение в искреннем моем к вам уважении, как к человеку и как автору. Давайте скорее четвертую часть истории, и не забывайте человека, который перестал уже быть и баснею.

Преданный вам А. Б.

VIII.

Г. Дербент. 1831 г. декабря 16 дня.

Вы живы, для меня живы, добрый, почтенный мой Николай Алексеевич!.. Слава Богу! Нет, как вы хотите, не погружайте меня вперед в подобное беспокойство. Не надо мне частых писем, но раз в месяц, по крайней мере, необходимо. Три строчки, два слова, но чтоб я знал, что вы как вы.

Сколько давно уснувших дум и чувств очнулось во мне на письмо ваше от 25-го сентября! Сколько черных и светлых часов встали передо мною, отряхнув с крыльев могильную пыль!.. Они ожили, будто от живой воды, от немногих слез, пролитых на ваши строки... Труженик, труженик, утешься! Не ты один носишь неутолимую жажду в груди своей... огонь Прометея светит и жжет вместе, или, лучше сказать, пожигает быстрее чем озаряет. Один только не повитый глупец может быть доволен сам собою... Утешься, если отраднo знать, что и другие страдают наравне с нами. "На людях и смерть красна", говорят Русские; но на людях, не значит с людьми. Я бы презрел самолюбца, который бы пожелал, чтобы с ним умирали товарищи для компании... Счастье, счастье!.. Будь я Манихей, я бы сказал, что какой-нибудь Эблис подбросил эту таинственную каракулю под ноги зеваче-человечеству вместо камня преткновения. Целый век осуждены мы цедить это вечносуществующее ничто сквозь Данаидину бочку, сквозь душу нашу, и чем больше труда, тем менее утoления. Где-то в Писании сказано: "бездна призывает бездну"; я скажу: бездна пожирает бездну, и может ли она упитаться, уснуть от пресыщения?.. Вы говорите: счастье должно быть отдыхом... Мысль новая, может статься, справедливая, то есть прекрасная, но я не вверяюсь ей, даже не приступаю к ней... Звук этот не пробуждает во мне никакой мысли. В лета юности, я был слишком ветрен и не отдавал себе отчета в цели моих желаний. Далее, был я обреченец, который не перелетал надеждою кратких дней вперед... а теперь, теперь иное дело. Я отрубил канат, который держал ковчег мой хоть одною якорною лапой за землю обетованную... Я выбросил в море весь груз надежд, уморил с голоду желание счастья и теперь ношусь без цели по безбрежному пространству, полному стадами животных, между коими едва заметна семья человека, семья созданий разумных. Со всем тем, любезный мой Николай Алексеевич, в очерке вашем себя, взгляделся я в собственные черты мои: разница (и верьте, что это не игра) едва ли в мою пользу. Как завидна мне в вас ничем не отклонимая воля образовать себя и трудолюбие неутомимое. Вы говорите, что это спасение от бездны души (так толкую то, что называете пустотою), что в труд прячетесь вы от самого себя... Неужели не видите в этом перста Провидения, которое разными подстреканиями, разными бичами заставляет людей творить или разрушать на пользу общую?.. Будете ли роптать на Него, что за работу египетскую едите вы чеснок, смоченный слезами, оглянитесь: за вами лежит Меридово озеро, спасающее, плодотворяющее целую страну, а вы, вы тоже копали его! Труд есть первый завет между небом и землей; польза есть первый долг, воздаваемый Богу, через руки человечества, и счастлив тот, кто выплатил его более, прямее; стало быть вы счастливее меня, которого гнетет какая-то свинцовая лень. Вместо гармонии нахожу я в себе ветер пустынный, шепчущий в развалинах. Под крестом моим, тяжким крестом (и более нравственно чем вещественно), падал я хоть на час, но не однажды. Дух мой окреп; но это больше окаменение чем твердость. Две только драгоценности вынес я из потопа: это гордость души в умилении перед всем, что прекрасно.

Чуден стал внутренний мир мой: прочтите The Darkness Байрона, и вы схватите что-то похожее на него; это океан, "задавленный тяжелою мглой, недвижный, мрачный и немой", над которым мелькают какие-то неясные образы. Зима судьбы погрузила меня в спячку... о, ежели б эта зима сохранила в свежести чувства мои для красных дней! Напрасная мольба... холод сохраняет только мертвецов в своем лоне, он убийца жизни. Слышу упрек совести: "ты погребаешь талант свой", и на миг хватаюсь за перо. Вот почему не написал я доселе ничего полного, развитого до последней складки. Мои повести, разорванные звенья электрической цепи, вязавшей ум мой с сердцем; но я сам не разберу концов не сцеплю обрывков. Впрочем, с неохотой принимаясь за дело, я с любовью веду его. Только в чтении, только в сочинении оживаю. Правда, я живу тогда не своею жизнью: плавкое мое воображение принимает все виды. Оборотень, оно влезает в кожу, оно, как рукавицу, надевает понятия лиц, созданных мною или другими; я смеюсь и плачу над листком... но это миг... я скоро простываю: слова мне кажутся так узки, перо так медленно, и потом читатели так далеки, путь к их сердцам нравственно и физически так неверен... и потом, когда вздумаю, что эта игра или страдание души все-таки поденьщина для улучшения своего быта, кисну, холодею, тяну, вяжу узлы как-нибудь. Нет, нет: для полного разлива, для вольного разгула дарования надо простор; нет, я недоволен своими созданиями! Это дети, иногда забавные, иногда милые, порой даже умненькие, но дети, но карлы, а я живу в стороне исполинских гор, в исполинов, мечтаний... Ради Бога, не поминайте мне про мои сказки!

Вы говорите о моем перерождении, о разнице меня прежнего со мною настоящим: я думаю, это более видимое чем точное... Ветхий Адам проносился на мне, правда, до дыр, но еще с плеч не падает. Ветреность моя была домино для светского карнавала, с которым вертелся я для биржевых сделок. Свет забавлял меня очень редко, но не пленял некогда. В кругу своих, я был собою, но вполне разоблаченную душу видел только один, и этот один уже в лоне Бога. Ребенком бываю, порой, и до сих пор... и как бы желал быть им чаще, быть им долее... с игрушками веет мне невинность ребячества... Кратки, кратки эти минуты! Ах, я слишком хорошо знаю людей, чтобы долго обманываться. "Отдай мой рай, отдай мой ад, отдай мне молодость назад!" восклицаю я с Гёте. Как редки во мне ныне светлые восторги любви и святого негодования, которые могли хоть на минуту возвышать меня до геройства, до увлекающего красноречия! Бесстрастная судьба словно облила мою душу своим холодом, своею ночью, не украшенною ни звездочкой познания: для чего преданы люда на съедение злобе и силе? Я стал почти равнодушен к страданиям человечества, которому не могу помочь словом. Сперва я был ребенок, страж запертого льва, теперь часовой у гроба... а цвел прежде по крайней мере как цветок теплицы -- ныне цвету как стоячая вода... Куда ж перетянем сравнение?.. Так или сяк, но скажу вам откровенно, что в былое время словесность считал я побочною своею дорогой; мне казалось и кажется, что я рожден лучше чувствовать нежели говорить, и более действовать чем думать. Я изувеченный гренадер, который неловко берется за берды.

Теперь очередь за людьми; вы жалуетесь на их злость, на их беспричинные преследования... да когда же звери любили человека?.. Впрочем мое мнение, что напрасно жалуются на злобу людей: надобно бы обвинять их глупость; слишком много чести называть этих копеечных Геростратов злодеями: они просто дураки. Они или ослы с тигровыми лапами, или хищные орлы с поросычьим рыльцем, и вот почему я никогда не принимал близко к сердцу ни обманов, ни коварства их. "Больше разницы между человеком и человеком, -- сказал Монтань, -- чем между человеком и скотом": может ли же крайнее существо обидеть меня, будь оно хоть с рогом, хоть с зубом, хоть с жалом? Ей Богу, нет! Оно может уязвить, измучить, истерзать меня, но огорчить разве на минуту. Вспомните, любезный Н. А., что свет есть огромный желтый дом, в котором и лекаря, по несчастию, если не безумные, то едва ли не глупее прочих. Последуйте мне, и вы увидите, как целебно подействует на вас это убеждение. Это не гордость, не презрение; сохрани Бог, нет, это сожаление, участие к злему мальчишке-человечеству; ибо с мыслью о ребячестве связано желание делать ему добро, даже долг делать его, несмотря на отплату злом: дети всегда бранятся и плачут, когда их моют. Но все ли таковы люди?.. Один лукавый мог бы отвечать: все. Несчастливы вы, что судьбой брошены в такой огромный круг мерзавцев. Я был счастливее вас живучи в свете; я знал многих, у которых самый большой порок был лишь то, что они считали себя героями. Я счастливее вас и в этом преддверии ада, в котором маюсь, ибо знаю людей, для коих падение стало вознесением. О, какие высокие души, какое ангельское терпение, какая чистота мыслей и поступков!.. Самая злая, низкая клевета не могла в шесть лет искушения найти ни в одном пятнышка, и в какое бы болото ни бывали они брошены, приказное презрение превращалось в невольное уважение. Безупречное поведение творит около них очарованную атмосферу, в которую не смеет вползти никакая гадина... Сколько познаний, дарований погребено вживе!.. Вы помирились бы с человечеством если

бы познакомились с моим братом Николаем... Такие души искупают тысячи наветов на человека.

Но, я говорю: знаю, а это не значит живу с ними. Я разлучен даже с меньшим братом Петром, который в полном смысле слова мученик. Сто верст между нами, и мы врознь: так близко и так неизмеримо далеко. Незаслуженные обиды от мерзавцев врезали в его сердце глубокую мизантропию, в ум глубокую меланхолию. Подобно вам, он горячо принимал все, принимая двуногих животных за людей... Его положение печалит меня всего более. Он изранен, изувечен, и никакого покоя, никаких средств к улучшению его жизни, ни одного дружеского лица около... это ужасно! Данте поместил бы крепость Бурную в своей *Divina Comedia*, и эта глава была бы сильнейшая.

Я недавно возвратился из похода в горы. Был не раз в делах, и скажу вам, что Горцы достойные дети Кавказа... Это не Персияне, не Турки. Сами бесы не могли бы драться отважнее, стрелять точнее. Нам дороги стали так называемые победы. В последнем деле мы имели несчастье потерять товарища, по несчастью, знаменитого храбростью подполковника Миклашевского: это был настоящий Аякс, и пал героем. И таких-то товарищей теряем мы с каждым годом, оплакивая каждый день... Число несчастливцев стесняется видимо... передние падают; а мы всегда впереди... скоро дойдет (Написанного здесь слова невозможно разобрать. К. П.) ... и до меня. По таблице вероятностей, даже прежние удачи суть уже залогом к будущему проигрышу. А климат, климат? Между прочим, он недавно поглотил отличного светского офицера Искритского... это жертва Выжигина.

Благодарю за присылку книг; *Notre-Dame* совершенно в моем вкусе. Я, впрочем, прочел только первую часть ее. Странник чересчур колобродит. Насчет моих отношений с Гречем скажу: я плачу старый долг. Греч первый ободрял и оценил меня; когда целый комитет цензуры решил, что я не умею написать ни строчки по-русски, он первый предложил мне и в несчастье быть его сотрудником. В нем много барства, но много и благородства. Что я сказал, если повесть велика для Телеграфа, то отошлите в С. О. -- я не разумел тут, что она негодна для вас... Журнал имеет свои рамы, в которые и воля журналиста не может втеснить книги. Деньги посылаются ко мне от многих прямо, и доселе, кроме воровства на почте, никаких препон не было. Впрочем, я не считаю вас должником, ибо вы не печатали ничего моего кроме Гаданья. Я очень совещусь обременением покупками. Кстати о печати: если вы хотите чаще иметь от меня повести, тискайте их скорее... Увидя в печати свое, я подстрекаюсь писать вновь: ах, думаю, ведь у Полевого ничего моего не осталось, и давай чертить... Да, да, еще: я просил от вас зерна для чего-нибудь дельного... пошевелите свою житницу историческою. Если что-нибудь изберу, то займу у вас необходимых подробностей, а без того придется писать: *a-la madame Genlis* -- "historique".

Душою обнимаю вас, дорогой мой Николай Алексеевич; почта уже подтягивает подпруги... нехотя надобно расстаться. Некогда перечесть письма... Это настоящий персидский ситец; хочется обо всем сказать, и оттого ничего не доскажешь, не выскажешь. Притом, если вы забыли, о чем сами писали по порядку, прощай смысл: средний лоскут нашего купона потерян. Об одном прошу вас: не предавайтесь поглощающей мысли бесконечности и совершенства в отношении к себе, ибо человек не может вместить в себе разума всего человечества, еще менее вынести на себе судьбу предназначенную всему человечеству. Покоряйтесь призыванию, но не переходите его границ в лихорадочном порыве души. Жалеть позволено нам, что мы не гении, но отчаиваться от этого -- есть роптать на Бога, которого должны благодарить вы, что Он дал вам средство, дал вам отраду быть полезным, отраду, которой лишены тысячи людей, которые тлеют как отверженные богами жертвы. Не говорю вам о людях: около вас, и вдали вас, и в собственном сердце снуется узел примирения их с вами, по крайней мере вас с ними. Скажите с Байроном: за злобу, за преследование воздам я мезтью и клятвами, и эта клятва будет забвение.

Но меня, столь много полюбившего вас, вы не забудете; я уверен в этом. Поцелуйте руку у супруги вашей за меня: это благодарность за то, что она услаждает бытие ваше. Поцелуйте еще сто раз, чтоб она сохранила вас, если не для вас, то для себя, для

Александра Бестужева.

В этом же письме, занимающем всего восемь страниц, написано:

"Вы так добры, Ксенофонт Алексеевич, что извините меня и без эпиграфа: "милостивый государь", за перекрещение вас, по незнанию, в Петры. Снимая однако же имя, я оставляю при вас ключи, конечно не от рая, по крайней мере, от замка, замыкающего дружество мое с братцем вашим. Я уверен, что эти ключи не будут похожи на камергерские, которые ничего не отпирают. Напрасно совеститесь вы старинных критик своих -- ни природа, ни ум не делают скачков: это было, стало -- должно было быть, и единственным раскаянием человека в делах неумышленных должно, как мне кажется, быть улучшение, исправление себя. Это пахнет магистральным наставлением; но опыт и несчастье, если не дали мне права давать советы, то извиняют, по крайней мере, мою говорливость. Притом же, ради самого графа Хвостова, как выдумать средство, найти что-нибудь в ваших произведениях словесности? Это кокос без молока: поневоле станешь грызть скорлупу. Моих критик тоже не выкинешь из этого десятка -- многих критик. Были иные, в которых пробивался и разум: но это был разум в академических пеленках. С тех пор много уплыло воды, много наплыло и дрязгу... Полно об этом!

"Обстоятельства военные в Дагестане, в этом "Land of mountains and floods", весьма плохи для Русских... Полков мало, и те слабы. Климат и меткие пули врагов просквозили ряды их. Кази-Мулла, воспламенив фанатизмом вечную ненависть Горцев к Русским, действует отлично, и с своими летучими отрядами ходит у нас не только под носом, но и по самому носу. Меры кротости или, лучше сказать, такие *manie de pallier*, сделали то, что мы окружены и прошпикированы врагами -- под именем мирных, лазутчиками -- под видом союзников. Сообщения прерваны, кони мрут с голоду, солдатам ничего не продают, и Кази-Мулла, ободренный разграблением Кизляра, откуда увез он добычи на 4 миллиона и 200 пленных, грозит всем городам новою осадой... Говорят, к нему присоединяются и Аварцы, самое воинственное племя, сердечники Кавказа, а край обнажен. Дело под Агач-Кале стоило нам 400 человек, павших под стеной деревянной башни на скале, в которой сидело не более 200 человек. Русские оказали чудеса храбрости -- и даром. Тут легло 8 офицеров самых отличных, в том числе 3 штабов и с ними начальник отряда Миклашевский. Дело под Чиркеем, за Сулаком, кончилось удачнее, ибо мы взяли назад пушку, отбитую у Эммануэля, но потеряли 80 человек. Чудо что за местоположение в том месте (под Чиркеем), а картина канонады была очаровательна. Там вызвался я ночью осмотреть мост, разрушенный нарочно... десятки завалов опоясывали скалу противоположного берега, и всякий, кто выставял нос только, был поражаем; но темнота мешала целиться, я подполз к обрыву, внизу бушевал Сулак, 10 сажень в низу, за 12 шагов белелись ворота предместья; я слышал, как говорили неприятели, как заваливали камнями вход, и вдруг залаяла собака, и меня поподчивали свинцовым градом. Но я после отомстил им, ибо мне поручили выстроить крыло батареи прямо против того места; целое утро мы громили их; в 3 часа дня они покорились. Братец ваш просит меня, чтобы я берег свою жизнь; это довольно трудная вещь для солдата. Природа не обделила меня животною дерзостью, которую величают храбростью; но я уже не запальчив, как бывало. Слава не заслоняет мне опасностей своими лазоревыми крылышками, и надежда не золотит порохового дыма. Я кидаюсь вперед, но это более по долгу, чем по вдохновению. Труды и усталость и непогоду сношу терпеливо: никто не слышал, чтоб я роптал на что-нибудь: потеряв голову, по бороде не плачут.

"За аккуратность посылок я много, много благодарен, но не вовсе за счеты. О прежних посылках ни слова, -- о книгах и альманахах тоже. Сделайте одолжение, упомяните о том. Покуда есть у меня перо, не дарите меня; иначе я ни о чем не буду просить вас: это каприз, но он мне родной. Не сердитесь на мой крутой слог: я считаю вас в числе друзей, а с друзьями приветы и околичности не терпимы. По прилагаемому кружку, постарайтесь, любезный К. А., выслать мне поскорее стекло к часам. На сей раз только.

"Брат вас так любит, Ксенофонт Алексеевич -- подкрепляйте же вы его своею заботливостью, освежайте дух его своею беседой... Я бы горячо желал разделить с вами этот священный долг, как делю с вами к нему уважение и с ним привязанность к вам. Будьте счастливы.

"Ваш Александр Б."

IX.

Г. Дербент, 1832 г. 1 января.

(На этом письме, вверху, выставлен No 1-й: видно, писавший хотел нумеровать свои письма; но такая аккуратность ограничилась, одним этим письмом.)

Вот и звезда нового года взошла на небосклон нашего бурного века, любезный, почтенный Николай

Алексеевич! Поздравляю, впрочем, только с мирным окончанием минувшего. Только. Занимать у будущего слезы или радости было бы слишком не расчетливо. Одни газетчики могут смело уверять нас в благоденствии несомненном, и могут потому, что им, как несостоятельным должникам, никто не верит. Для себя собственно я ничего не жду, ничего не боюсь: в этом отношении я наслаждаюсь бесстрашием покойников. Желал бы очень, чтобы с моими чувствами случилось то же, что с моими надеждами, а то сердце живуче слишком: шевелится и раздавленное колесом счастья; бьется в когтях судьбы, точит кровь, и так долго не исходит ею! Нет худа без добра, однако же: лучше пусть клюет его орел Зевеса, чем ему быть источену червями житейскими. Дух человека питается собственным потом, своими слезами и кровью; но за то на этой пище он вырастает исполином.

Отведем душу: поговорим о словесности. Денежная удача Булгарина разманила писак наших. Желание выгод приняли они за вдохновение, и давай из иностранных лоскутков сшивать русские романы. Не знаю, как другим, а мне очень заметны швы этих ветошных выставок. Я имею пренесчастную память -- память квартального, которому не попадайся плут на глаза дважды, и от этого я редкое русское произведение читаю с удовольствием. Даже театральные разборы игры актеров, не только журнальные критики, так пахнут Журналом Прений, что я, кажется, мог бы указать номер, из которого они выкрадены. Жаль, право, что газетные листки не клеймятся, а то редкий бы из них избежал величественных заглавных букв В, О и Р: и поделом бы -- не шарь по чужим карманам. В романах еще более бессовестности. Нарядят какого-нибудь лорда в нагольный тулуп, и думают, что в этом наряде можно сдать его хоть не в зачет в рекруты. Везде у них является какая-нибудь Диана Вернон, с косою по пятам, везде Гурт, вверх ногами, а без дуры или сумасшедшей не смеют они и показаться. Это их родная сестра, или муза. Презатеиливые сны видятся их героям и героиням чуть не наяву, и эта греза -- завязка всего происшествия. За милость еще, если обойдется без колдуньи, а то, пожалуй, по примеру Ф. В., заставят нас присутствовать при анатомической проекции свиньи, из брюха которой вынут змею и лягушку, и все это в январе месяце. (Зри Димитрия Самозванца.) Господи, твоя воля! да неужели на святой Руси не найдем мы ни одной оригинальной дуры, ни одной ведьмы, за которой бы тащился не шлейф, а хвост, самородный, киевский?.. Нет, господа, как вы хотите, а голландской селедке не след являться с квашеною капустой, русскую ворону не скроют перья попугаев американских, я английский фрак волочится у вас самих по пятам. На беду вашу, вы не успеете даже читать живую грамоту оригиналов, и русский Наш отзывается у вас как N французский. Не говорю уже о доблести Шекспира, о Кальдероновском сагао, о непозвалях Поляков, а из итальянского мира поэзии вы достойны знать только:

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!

Я говорю это более в отношении смысла, в отношении характера народного, чем познания языка. Да и кто у нас пишет? Или жители гостиных, которые раз в год прислушиваются к языку народа в балаганах, и рады-рады, что выудят какое-нибудь пошлое выражение, с которым носятся словно с писаною торбой. Это у них родимое пятнышко на маске. Весь прочий язык -- сметана с разных горшков: что-то кисло-сладкое, плавающее в сыворотке бездарности, и все это посыпано свинцовым сахаром личности или солодковым корнем лести: прекрасное лекарство от кашля, не от скуки. Или такие люди, которым конечно нечего лазить в карман за харчевными выражениями, зато напрасен и труд дать этим речам занимательность. Чтоб узнать добрый, смысленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в розмель, на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? какое оригинальное существо, какое святое существо, и какой чудный, дикий зверь с этим вместе! Как многогранна его деятельность, но как отличны его понятия от тех, под которыми по форме привыкли его рисовать! Этот газетный мундир вовсе ему не в пору... Солдат наш не Трим, не гренадер Старой гвардии, но и не Храбров драм Федорова, не то как описывают его старинные песни, всего менее певун Федора Глинки. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелем в руке, тот их и не узнает никогда, хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал, на батарею, лежать под пулями в траншее, под перевязкой в лазарете; да, безделица: ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хлама, и потом дар, чтобы снизить из этих перл ожерелье! О, сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моей рассыпанных, не мог я соорудить ничего доселе! Дай Бог, чтобы время починило дырявые мои карманы, а то все занимательное высыпается из них, словно орехи у школьника. Я был так счастлив (или,

пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш, и, кажется, многое угадал в нем; вопрос: удастся ли мне извлечь когда-нибудь из этих дробей знаменателя?.. Хочу, и сомневаюсь.

Но мы бродим по сторонам. Зерно верхних строк упало из No 18 Телеграфа. Стрельцы! гм! Эпоха великих характеров: это великаны старинной Руси, которые отстаивают не одни свои бороды в борьбе с великаном нового века. Это бой на смерть. Стрельцы!.. громкое имя, привлекательное не для одних книгопродавцев. Пусть не сравнивают их с янычарами: это старее пудры. Напротив, в них замерла последняя народность. С Петра, солдат уже перестал быть человеком; мундир и кафтан разлучились надолго. Эра, более значущая в домашнем быту России, чем в политических весах, в которые Великий бросил огромный меч свой. Ничего не вижу из отрывков журнальных. Конечно, роман нельзя составить по двум позвонкам, подобно костяку какого-нибудь мамонта, но птицу можно узнать не только по полету, да и по перелету. Украденная невеста! ба, ба, ба! да это I promessi Sposi: та же канва, те же bravi, только с окладистыми бородами а la Iliushka! Ну, с Богом: "проваливай, дядюшка!" Надо бы подарить сережки и сестрице, нашей поэзии (она же, бедняжка, право, дура безсережная), да та беда, что для ее испанских титулов, С. Шевырев, Е. Кугушев, Е. Трилунный, etc. etc. etc., нет у меня места: это совершенно Крысий Архипелаг нелепостей в море пустозвучия. Как читаешь раздирающие жизнь (а нередко и ухо) их стихотворения, так и хочется сказать:

Печальной музы кавалеры!

Признайтесь: только стопы вы

Обули в новые размеры,

Не убирая головы!

И рады, что нашли возможность,

На разум века несмотря,

Свою распухлую ничтожность

Прикрыть цветами словаря!..

Впрочем, в Шевыреве водятся иногда мысли, в Трилунном -- чувства, но это так редко или так ветхо! Прочих поэтов не помню даже имен; они все, кажется, берут напрокат стоптанные туфли Пушкина. Кстати: он, слышится, издает альманах? Дай Бог, чтобы то было альфа и омега этого Агамемноновского племени. Надоели, как пруссаки!

Я шагнул в новый год довольно здоровою ногой. Храните в свежести свое сердце вы, дорогой мой Николай Алексеевич, и это оздравит весь состав ваш. Желая спокойствия вам, счастья всей милой семье вашей, а Ксенофону Алексеевичу, безмолвно, братски пожмите руку: через вас он, конечно, поймет

Александра Бестужева.

PS. Две недели назад, я писал к вам: известите, получили ли то не совсем зимнее, хоть в декабре писанное письмо? При семь шесть книг *Revue française*, задержанные потому, что ранее почта не принимала посылок.

X.

Дербент, 1832 г. февраля 4.

Пишу к вам, любезный и почтенный Николай Алексеевич, с мусульманином Аграимом, добрым дербентским жителем, коего прошу вас усердно приласкать, помочь ему в прииске товаров советом и выбором, и, словом, совершить долг гостеприимства по-русски. Он расскажет вам, что я теперь, благодаря прекраснейшему семейству майора Шнитникова, провожу время у них как с умными и добрыми родными; но это только теперь, и вероятно не надолго (Следующие за сим строки не могут быть напечатаны, потому что относятся к разным лицам, и могли быть написаны только в дружеском письме. С сожалением, ограничиваемся началом и окончанием этого письма, где особенно важна подробность о Грибоедове. К. П.).

.....

Грибоедов взял слово с Паскевича мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку... благороднейшая душа! Свет не стоил тебя... по крайней мере я стоил его дружбы и горжусь этим. С N N знакомы и связаны мы издавна... но мы не друзья, как вы полагаете, ибо от этого имени я требую более чем он может дать. Живу один. Ленюсь... частью виноваты в том и сердечные проказы... Каюсь, и все-таки ленюсь. Но что вы, вы, мой добрый, сердцем любимый Н. А-ч!.. Как жаль, что я не знал об отъезде Аграима ранее, я бы написал вам кучу любопытного... но теперь едва успеваю, ночью, на постеле кончить эти несвязные строки. Пишите по крайней мере вы с ним. Пишите и по почте; я уж после отрадного большого письма давно не имею о вас вести. Обнимите за меня Ксенофонта. Боже мой, какая досада! я еще не начал, я должен кончить -- светает, а со светом, Аграим едет в свет из кромешной тьмы, где влачится ваш

Александр.

(Аграим явился с этим письмом ко мне, в сопровождении переводчика, Армянина или Грузина, потому что вовсе не знал, по-русски. Разговор через переводчика, не известного мне человека, не мог быть ни свободным, ни искренним; однако я старался узнать разные подробности о Бестужева, о его житье-бытье, и когда спросил у Аграима, любит ли он его, Татарин с жаром заговорил, прикладывая руку к сердцу, так что по виду его и выражению голоса можно было догадаться, и без перевода слов его, что он дорожит и гордится приятельством Бестужева. "Хорошо ли он говорит по-татарски?" спросил я. -- "Так же хорошо, как я!" воскликнул Аграим. Эта подробность любопытна, свидетельствуя о необыкновенных способностях Бестужева к изучению языков.

Аграим оставался в Москве долго, кажется загулялся в новом для него мире, но по-русски не выучился, и хотя приходил ко мне прощаться уже без переводчика, однако едва мог кой-как связать несколько слов. Он был, по-видимому, человек достаточный, с умным азиатским лицом, но остался вполне мусульманином по понятиям. К. П.)

XI.

Дербент. 15 марта 1832 года.

Крайне дивлюсь, любезный и почтенный Ксенофонт Алексеевич, кому вздумалось сочинить в Москве, будто я убит! Вестовщики рано меня отпели; назло им (У меня нет подлинника этого письма: оно напечатано в Отечественных Записках (1860 г. май), но несомненно, что издатели неверно прочитали здесь слова, и напечатали: низко им, вместо назло им. Ручаюсь, что это должно быть так: пусть справятся. Я с полной уверенностью восстанавливаю здесь смысл, зная, что хотя Бестужев иногда ошибался против языка и правописания, особенно писавши наскоро, не перечитывая написанного, однако он не мог написать бессмыслицы. К. П.), я живу себе до сих пор, и какое-то уверение таится в груди, что буду жив еще сколько-нибудь времени. Так по крайней мере сдается мне всякий раз, когда иду в дело. Очень верю, что вам была не радость подобная весть, ибо верю, что семейство Полевых меня любит: из чего бы вы стали меня обольщать! Благодаря Бога, я в таком теперь кругу, что могу безошибочно верить немногим лицам, ко мне обращенным. Насчет русских солдат вы не совсем верное имеете мнение, хотя оно и близко к правде. Солдат наш очень неохотно идет в огонь; но хорошо стоит в нем и, как вы думаете, отчего? Он не умеет уйти, и лезет на верную смерть оттого, что не смеет послушаться. Впрочем, русский солдат доступен всем высоким чувствам, если б умели их возбуждать заранее... Пример и красное слово увлекают их, и чудная вещь: имя полка, имя роты, известной искони храбростью, как будто перерождает трусов в бесстрашных. Впрочем, я знал многих солдат, которые так же радостно идут в дело, как в кружало. Дениса Давыдова судите (вы) по его словам; но, между нами будь сказано, он более выписал, чем вырубил себе славу храбреца. В 1812 году, быть партизаном значило быть наименее в опасности, нападая ночью на усталых, или врасплох. Притом Французы, без пушек, и вне строя, нестрашные ратники. Это не Черкес и не дели-баш, который не задумается вступить в борьбу с пятерыми врагами. Между прочим, я был дружен с Николаем Бедрягою, который служил с Денисом в 1812 году. Он говорит, что они могли бы в тысячу раз быть полезнее, если бы Бахус не мешал Марсу. В 1826 году, хоть он (То есть Д. В. Давыдов. К. П.) и пронесся в горах около Арарата с шайкою Грузин, но там не было сборищ Куртинцев, и потому они не имели даже ни одной стычки. Я не отнимаю впрочем ни славы, ни пользы у Давыдова: он очень хорошо постиг свое ремесло; однако я бы желал видеть и сравнить его с здешними наездниками. Я думаю, что он показался бы школьником в

сравнении с ними. В мире все относительно. Я очень люблю его, но он принадлежит истории, а история есть нагая истина...

Но я заболтался, и забыл благодарить за все ваши хлопоты. Стекло, на беду, слишком плоско и придавливает стрелки. Надо будете снова ждать три месяца. Вестей и сплетней жду от вас (по литературе, разумеется). Дома теперь отдыхаю один, ибо сожитель мой уехал, слава Богу! Предобрый, но пренесносный человек, тем более, что влюблен; а я не знаю в свете скучнее людей, как влюбленные. Здоровье мое не дурно; ленью подобен я богам гомеровским. Вот все, что на этот раз попало под расколотое перо, желającego вам всего лучшего,

Александра Бестужева.

XII.

Дербент. 19 мая 1832 года.

Рады вы или не рады, любезный, почтенный мой Николай Алексеевич, а вы для меня что-то в роде громового отвода: когда мне крепко сгрустнется, когда сердце переполнено горечью, мне сейчас приходит в ум: дай напишу к Полевому -- пишу, и мне становится легче. Противоположна моя жизнь с вашею: этот тихий мир домашний, посреди враждующего, пустозвонного, задорного мира словесности, в котором вы воинствуете; эта судьба, с которою вы боролись так долго и наконец, кажется, наступили на ртутный хвост ее; эта деятельность часовой стрелки, вечно движущейся и вечно неудалимой от среды, и с другой стороны я, телесно деятельный поневоле и поневоле бездейственный умственно; уже не в борьбе, но под пятою судьбы; без родных, без друзей, нося отечество только в сердце, радость зная только по памяти, разорвавший помочи надежды когда-нибудь обнять все это снова!.. Рука моя поражена на полувзмах, тяжкие пути оковали ногу занесенную вперед: нерастворимые врата сгрянули передо мною. Болезненная дрема держит меня в своих объятиях; если я что делаю, если я что говорю, это просонки, это полугрезы!.. Порой чувствую в себе, будто в магнетическом сне, сильную душу, и не могу поднять головы... Лиллипуты-обстоятельства, мелкие страстишки путают меня как Гулливера, тащат, заставляют на себя работать. Прочтите, пожалуйста, в английском оригинале приказ выколоть Гулливеру глаза: это образчик нынешней риторики; есть сходство и со мною.

Странная вещь: отчего человек печальный любит говорить о себе, между тем как веселый о других толкует?.. Это должно бы быть напротив, ибо рассказы о себе наводят скуку, вместо того чтоб возбуждать участие!

Но дошла и до вас очередь, любезный Николай Алексеевич: я хочу побранить вас. Горячо принявшись за приятельство, вы, как все люди, скоро остываете в ней, а вы не должны быть как все. Я бы не сказал этого, если б вы сами не вызвались на откровенность, и если б я не дорожил ею. Не виню вас, что вы не пишете часто -- это физически невозможно при ваших занятиях; но не черкнуть восемь месяцев ни строки -- хоть не московец будь я, а все-таки сочтешь время.

24-го. Не поспев на почту, я прервал письмо; прерываю, оканчиваю и выговор, любезный Николай Алексеевич. Это была игра желчи, хоть излияние оной не вовсе безвинно (то есть беспричинно, хотел я сказать).

Помните ли, когда заезжал я к вам из Марьиной рощи с С. Нечаевым 1 мая (в Москве, в 1825 году, летом, но конечно не 1-го мая, когда не бывает гулянья в Марьиной роще; а он точно заехал оттуда, возвращаясь с гулянья вместе с С. Д. Нечаевым, у которого и жил гостем. Мне памятно это посещение: тут я в первый раз увидел А. Бестужева. К. П.). Он сказал вам на ваши упреки мне об отзыве Полярной Звезды: Вы чудак, Н. А., вообразили, что А. Б. беспогрешителен: он такой же человек как и мы. Он сказал очень пошлую, но очень меткую правду: я человек. В этом слове заключается все: одного больше во мне, другого менее чем в толпе, составленной из дюжин, но все же то и другое есть. Я посвятил себя изучению людей, но себя постичь не могу доселе: настоящий микрокосм! Вот почему прошу не гневаться, если случится встретить в письмах моих колкие неровности; это оттого, что я подаю вам руку без перчатки. Правила мои неизменны, но дух... волна его зыблет порой, и ветер внешний, и рыбка прихоти, и минутное вскипение страсти. Лира моего бытия составлена через струну, из металлических (души), и жильных (тела), и признаюсь, нередко последние становятся первыми, заглушают их на время. Вы простите мне страсть к сравнениям: жилец Европы, я уже

любил их -- теперь употребляю по праву азиатского гражданства.

Статья ваша за романтизм -- прелесть; я бы набросал белее цветов, но никогда не собрал бы такой жатвы убеждений, как вы. Меня берет досада, что я так удален от европейской образованности: она едва долетает сюда по капле, а я жажду выпить Сену, и Темзу, и Рейн... О, как много души надо на терпение! Не забывайте Александра Бестужева.

XIII.

24 мая.

Помните ли вы, любезный Ксенофонт Алексеевич, единственно-писанные рукою Спасителя слова?.. Они были писаны на прахе земли, но перстом небесным: "Брось камень тот, кто чувствует себя безгрешным!" Вот какая мысль мелькнула во мне при чтении начала вашего последнего письма. Вы смягчили укор, сказав: "Б., человек испытанный судьбою, выражается как мальчик!" Вы бы должны были сказать: чувствует, и все еще это была бы правда, но правда, от которой я не покраснею, или, лучше сказать, не побледнею, как от обвинения. Подумайте, что мне хоть и тридцать четыре года, но я еще свеж, еще силен. Заключение, во льду своем, сохранило впрок мое сердце... Прибавьте, к этому пылкую кровь, которую нередко пенит крыльями воображение, прибавьте к этому привычку, если не любить, так влюбляться (это дрожжи большего света), и вы благословите судьбу, что она обстоятельствами устранила вас от этого круга, но не осудите меня. С другой стороны, не возвышайте этого на жертвенник Весты. Зачем? Всякий огонь (кроме мышьеого, разумеется) не довольно ли чист, чтобы очищать золото? Он молодит мою душу, он дает брожение засыпающим ее стихиям. Если бы не враждебные обстоятельства, я бы давно был супруг, отец, и добрый супруг, добрый отец, но я ль виноват, что выкинут вулканом из лона этого счастья? Правда, я обманываю себя, закрываю очи, отступаюсь, но это мне полезно, как говорят, полезно изредка упиваться, чтобы сделать переворот в организме. Любовь в человеке, что буря в воздухе... вредна в частности, но вообще спасительна. То же было и со мной. Теперь нить порвана чуждыми обстоятельствами, но за тоской следует грусть, а там и отдых.

Итак знаменитый Белкин -- Пушкин! Никогда бы не ждал я этого, хотя повести эти знаю лишь по слуху. Впрочем, и не мудрено: в Пушкине нет одного поэтического, это души, а без ней плохо удастся и смиренная проза. Розен мямлит, мямлит, прости Господи, без складу по складам, без толку по толкам. Вельтману не верю, что он ничего не читает для оригинальности, потому что сам именно для того люблю читать. Я не хочу встречаться, по крайней мере повторять. Но если он ничего не читает, зачем же ничего не пишет? Тоже для оригинальности? Это просто лень.

Паньки не читал; Отрешкова и не хочу читать; благодарю Бога, что другие романисты, Сиговоподобная сволочь (Для современных читателей надобно заметить, что был писатель Сигов, романист низшего разряда. К. П.), и на глаза не попадают... Но как вы ни оправдываетесь в похвалах своих Марлинскому, А. Б. от них отрицается. Он чувствует, как ни дурен сам, но во сто раз лучше своих повестей. Перо мое (как и вы намекали) торгуют в Петербурге: хотят меня выдать, словно бедную невесту, за богатого дурака. Не знаю как быть: невольником стать не хочется, а пять тысяч в год -- деньги. Я имею братьев, которым лишнее не лишнее. Скоро напечатают мои старые грехи: разойдется ли, нет ли, а уж тысячи три на издание истратил.

XIV.

Дербент. 1832 года июня 25 дня.

Любезный и почтенный Николай Алексеевич! Я получил, и поглотил ваше новое сочинение Клятву. В ней русский дух воочью совершается и наши деды распоясывают душу; одним словом, прежняя Русь живет там снова -- но по старому. Видишь, кажется, быт средних веков во всей его полноте и пестроте. Это не Геркуланум, отрытый из-под векового пепла; в том одни утвари, одни стены, жизнь истреблена: это город-могила. У вас театр кипит жизнью, былою, но действительною. Пусть другие роются в летописях, пытая их, было ли так, могло ли быть так во времена Шемяки? Я уверен, я убежден, что оно так было... в этом порукой мое русское сердце, мое воображение, в которой старина наша давно жила такую, как ожила у

вас. К чему ж послужила бы поэзия, если б она не воссоздавала минувшего, не угадывала будущего, если б она не творила, но всегда по образу и по подобию истины! Послушайте, Николай Алексеевич: у вас много завистников, и на святой Руси глупцов не оберешься, но если б тех и других считали по последней ревизии, мнение десяти, много мнение трех человек истинных ценителей (и не по уму, нет, по сердцу) предпочтительнее всей этой громады. Так всегда думал я для себя, так советую вам применить это правило к себе... и считайте это тщеславием, самолюбием, заносчивостью, чем угодно, но я ставлю себя в число трех ценителей и говорю: Клятва хороша! Следуют подробности, почему, следуют замечания, как иные места могли б быть лучше, но об вещах столь новых не напишешь на розовом листочке. Я бы желал прочесть это произведение при вас, вслух и остановиться на каждом выражении, которое разногласит с соседями (а это инде встречается); я бы сказал: в этом положении язык такого-то лица должен быть возвышеннее, ибо каково бы ни было состояние человека, критические минуты, сильные страсти надмевают душу и наречие; это говорю я не из книг, а по собственному опыту: я сам бывал в подобных случаях, я сотни раз наблюдал в такие минуты других, особенно людей, одаренных сильными характерами. Гомер и Шекспир, два сердцевода, постигли эту тайну в высшей степени, и у обоих вы найдете, что самые высокие выражения душ, обуреваемых страстью, перемешаны с самыми низкими словами, с укорами, с бранью площадною: это чистая природа! Это -- бунтующее море, которое извергает на берег и янтарь, и грязную пену. Страсть не умеет ходить на ходулях: на них взмощается расчет; но, с другой стороны, мнение -- будто простые люди могли не иначе выражаться как поденьщики за работой -- ошибочно. Простые люди не простаки, и, право, в ссорах наших мужиков мне случалось находить более поэзии в бранях, чем в поэмах наших стихотворцев. Русский слова не скажет без фигур, без сравнений; дело в том, что сила их скрыта в выражении: надобно раскусить скорлупу. Впрочем, когда кончите быть эту, то есть когда мы ее кончим, я поговорю о ней попросторнее; теперь еще не видно общности, а роман не полип. Вот что имеет подобное свойство, так это главы Вельтманова Странника. Идея брошена, кажется, отдельно, отрезана от прежних и прочих, но взгляните: отдельная жизнь начинает в ней биться, целое образуется, неровности округлены. Его надобно читать пристально, и очень жаль, что он скрывает часто новые мысли в хрустальные обломочки и в мишурные блески. Притом, эта Ариостовская манера вводить и выводить в главы и из них -- чересчур стара. Tours de passe-passe могут в свою очередь забавлять на раз, а он их повторяет чересчур часто. Впрочем все это дядя Тоби и Тристам, не связанные, по несчастью (как у Стерна), никаким характером. Поблагодарите Вельтмана и за сочинение, и за присылку Странника, но скажите, что я ожидаю от него более последовательности вперед. Человек, который так удачно мыслит, должен и размышлять хорошо. Он написал на заглавном листке: Не глаза знакомят людей, а души. Жаль, если он знаком только с душою Марлинского: это даже не ножны, а наконечник сабли.

Мы не знаем, чему приписать задержку вашей Истории Русского Народа; а ждем не дождемся, как ваших писем. Впрочем, отвечайте мне томами своими, и это будет лучшею отповедью, -- будьте для нас здоровы, а для себя счастливы.

Неизменный ваш Александр Бестужев.

XV.

Дербент 1832 года 28 июля.

Давно уже не получал я от вас вести, давно не писал и к вам, любезный Ксенофонт Алексеевич, да и не мудрено: у вас Телеграф съедает время, а лень самого меня. Жары юга неимоверно как скоро иссушают чернильницу, впрочем не сердце и не душу. Я оживаю, право, когда со святой Руси повеет северок, а последняя быть вашего брата освежила меня словно дождь в степи безводно! Пускай пишет он в этом роде и более и чаще: это будет тайница грядущим романистам нашим, не тем, которые, черпая из источника ведрами, хулят его проходим. Знаю я эту братию-краснобаев: у вас же воруют, и краденными конями хотят обскакать вас же. Когда-нибудь я напишу статью о русских романах и повестях, и в ней подарю всем сестрам по серьгам. Признаться сказать, в моем положении без беды беда писать критики, а писать похвальные речи перо не подымется, если б я был довольно бездушен, чтоб на это решиться. Вот почему наиболее бросил я железный стиль рецензента, хотя теперь, думается, я бы владел им немножко потверже чем в первинки моего словесного поприща, когда одна страсть посмеяться была моим ментором. Чешется, правда, крепко порой чешется рука схватить за вихор иного враля, но вспомнишь золотое правило, что во многоглаголании несть спасения, и давай стрелять в пустые бутылки из пистолета: хоть на них сбить досаду. Кстати о

критике: Вельтман говорит, что северное сияние есть след земли... Мне досадно, когда умный человек даже шутя роняет такие вздоры. Что же по его мнению южное сияние?.. А оно ничем не хуже и ни сколько не менее северного: пусть он прочтет Кука и Беллинсгаузена и тысячу других моряков, чертивших Ледовитый Южный океан. Паррот, кажется, сгромоздил еще хитрейшую гипотезу: по его, азот скатывается от экватора к полюсам, ибо сила вращения при нем в максимуме, так что если б этот газ не сгорал, то мы в несколько лет должны бы были прорубить к полярным кругам дорожку топорами. Жаль только, что это сгорание не натопляет полюсов. Уж если верить гипотезам, то Велланский, последователь Шеллинга, всех правдоподобнее, хотя закутал в шубу едва понятных эпитетов. Давно бы пора бросить материализм сил природы, но привычка, не хуже зелена-вина, так и тянет к матушке-грязи.

У меня есть брат Петр, который за раной и увечьем выпущен теперь в отставку в унтер-офицерском своем чине... Кроме здоровья физического, он потерял здесь драгоценнейшее для человека -- свет разума, и тому виной было бесчеловечное обхождение с ним двух его начальников (их уже обоих нет на свете). Не можете представить, как терзался я, видя его временное помрачение. Он жил у меня здесь два месяца, и в это время я не мог написать дельной строки. Хуже всего, что им завладело человеконенавидение, и ко всем к нему близким наиболее, не исключая даже меня. Отправляю его одного, ибо нет попутчиков, покуда на корабле в Астрахань, а там колесом далее; но при его рассеянности крепко боюсь, что он растеряется. В Москву ему заехать нельзя, и потому к вам не адресую.

С Кази-Муллою было месяц назад опять дело кровавое, но туман помешал его поймать: он утек как вода между пальцев. На линии сам Розен; хотят впасть в Чечню... Сюда, впрочем, нужно бочку золота и сто тысяч солдат, чтобы вдруг подавить Кавказ, иначе, мы терять будем вдвое по рознице, и ничего путного не совершим.

Я послал к вам 100 руб. для покупок дамских. Получили ли вы?

Нравится ли публике Аммалат? Каково принята Клятва?

Супруге вашей поцелуйте за меня ручку. Вы говорили, что порой держите с нею корректуру моих пьес: как бы желал я, чтобы также могли вы держать корректуру моего нрава. До встречи.

Уважающий вас А. Бестужев.

XVI.

Дербент, 22 сентября 1832 года.

Я чай, у вас сжимается сердце, почтенный друг мой, Ксенофонт Алексеевич, завидя мое письмо в зловещей обертке поручений! Это должно быть очень скучно для человека, не знающего, где взять времени и на дельные занятия. Как быть однако ж -- к вам опять с поклоном! Правду-истину сказать, мне и самому это наскучивает; да уж люби в саночках кататься, люби саночки возить. Вследствие такой велемудрой пословицы, прилагаю при сем целую страницу требований. Если благодарность здешних дам может хоть капелькой утешить вашу супругу за ее снисходительность и хлопоты (Я писал ему, что она радушно принимает на себя выбор предметов, вкуса и дамских нарядов, которых Бестужев выписывал множество. К. П.), я могу засвидетельствовать ее целую вязку, всю унизанную приветами, как бурмицкими зернами. Про себя уж и поминать нечего: я просто записываюсь в кабальные за такую добрую барыню.

Выговариваете мне, что я посылаю к вам деньги: это деньги не мои. Мне дают поручения с деньгами, и я, рад не рад, так же их и отсылаю. Впрочем, скажу вам правду: я не люблю себе бессребренных комиссий, и совещусь их делать кому-либо. Первое, потому что я нередко оставался без гроша для прихотей других, и добро бы приятных мне людей, а то хоть бы век не видать; второе, что столица хоть и столица, но деньги в ней не падают с неба, ровно у нас грешных. Положим, что у вас и лес; но в лес бразильский из красных дерев, назначенный на столярную работу, можно для топки привезти и валежнику. Это мимоходом, -- это едва ли стоит исписанных о том чернил.

Le Roy меня увлек, тем скорее, что я сам сроду своего не принимал иных лекарств кроме очистительных (Здесь речь об известном героическом лекарстве Le Roy, которое не раз освобождало меня от тяжких болезней. По какому-то случаю, я писал, о том Бестужеву; он просил, прислать ему книгу Le Roy, Method curative, и выражает свое мнение об этой методе. К. П.). Добрый мой гений вложил в меня какой-то

предугадательный дар от всего вредного и дурного в мнениях, по литературе, по политике, по художествам, по всему. Так, я всегда был против пиявиц (всех родов) и кровопускания, против заплаточного лечения и сложных способов. Медицина мне не чужда, а потому зная, что она идет ощупью, я не верил докторам нисколько. Очень рад, что могу свое неверование обратить теперь в свою веру. Выписываю из Тифлиса препараты, и при болезни примусь пользоваться сам. Впрочем, я никак не считаю Le Roy всеобщим излечителем, и приемлю его методу с ограничениями. Надо вам сказать, что я страдаю одною болезнью -- это *tenia*. Каждогодно я выбрасываю его от трех до четырех сажень, но это беспечно. Думаю даже, что он причину моей частой тоски и самой апатии, которую называем мы ленью. Недавно со мной был перелом, и теперь я, очистив желудок, чувствую себя свежее, готовее к работе; но хотелось бы выжить совсем этого порожденца Форт-славы, где я четырнадцать месяцев питался гнилою пищею, пил солончаковую воду, дышал известью и плесенью, не видел света.

Я у вас в долгу и без денег, по душе -- не журите, если запоздаю отплатою, то наверно напишу вам повесть и посвящу вам же. Для этого, по новому условию с книгопродавцем Смирдиным и перепродавцем мною, придется вильнуть и сказать, что я еще в этом году прислал вам ее, а вы ее припрятали для казового конца. Аминь (Бог избавил его от греха: он не написал обещанной повести. Впрочем, я не понимаю, о каком условии с Смирдиным упоминает он. Мы увидим, что через год он сам торжественно отвергал даже мысль о подобном условии. К. П.).

Я знал Карамзина хорошо, и, несмотря на заботы его поклонников, решительно отказался от знакомства с ним. Двуличность в писателе его достоинства казалась мне отвратительною (Мнение совершенно несправедливое: Карамзин был противоположных мнений с Бестужевым, но никто не упрекнет его в двуличности. К. П.). С Гречем и Булгариным я был приятелем; но если бы вы знали, как я резал их!.. Это был вечный припев моих шуток, особенно над Булгариным -- и он точно был с этой стороны смешон до комического! Когда-нибудь я опишу несколько сцен. Про Пушкина пожимаю плечами... ужели и за его душу пора петь панихиду? Я всегда знал его за бесхарактерного человека, едва ли не за безнравственного -- *mais c'est plus qu'un delit, c'est une faute* (Вот как он сам выражался: досталось всем сестрам по серьгам. Не знаю, что вызвало такие резкие суждения. Не болезненное ли состояние духа? или неизлечимая ветренность, которая часто заставляла Бестужева противоречить самому себе? Заметьте, что в несколько лет этой переписки он судит совершенно противоположно об одних и тех же лицах. А между тем я верю его искренности. К. П.). До другого раза, *vale*. Братца Николая объемлю душой.

Александр Бестужев.

XVII.

Дербент, 14 декабря 1832 г.

Уж не оттого ли я редко пишу к вам, почтенный, добрый мой друг Ксенофонт Алексеевич, что часто вас вспоминаю? Письмо и разговоры, которые нередко вожу с вами умственно, сливаются в одно, и мне кажется, я уж передал то бумаге, что было только в голове.

И то сказать: нередко бросаешь перо, именно потому, что сердце любит писать размашисто, а бумага такая тесная! А иногда и лист широк, да досугу ни капли -- как быть! И в этот раз та же песня: успею ль, нет ли, поблагодарить вас и милую супругу вашу за все ваши хлопоты, за доброту, за вкус, за все, все! Покупками довольны как нельзя более... Ив. Петрович тоже поручил зашить в клеенку несколько благодарностей. Просят только переменить посылаемые башмаки: узки в подъемах. Комендант наш (Майор Шнитников, довольно долго бывший дербентским комендантом, благороднейший человек. Он один облегчал, судьбу Бестужева в Дербенте. Умер от ран, полученных в сражении с горцами. К. П.) поручал многим купить себе коляску в Москве; но Татары известные обманщики: лучший из них не стоит выеденного яйца. Тот не успел, другой не доехал. Пришлось вам челом ударить: по приложенной рацее приторговать коляску, а деньги вышлются в январе! Прочие распоряжения сделаны будут при деньгах.

Радуюсь умножению книжного племени. Сказки Луганского стоят благодарности, хотя их достоинство все в памяти издателя, но всякий ли умеет схватить народность? Всякий ли слепит из этого целое? Собственные вымыслы Луганского не очень удачны: эти похвалы Русакам, да насмешки над Французами -- куда больно изъездились! Солдатских сказок невообразимое множество, и нередко они замысловаты очень. Дай-то Бог, чтобы кто-нибудь их собрал: в них драгоценный, первобытный материал русского языка и отпечаток

неподдельный русского духа.

С. Глинка берется за все -- даже за Армению. Но если бы знали, как сделалось переселение Армян из Азербиджана -- содрогнулись бы камни. Лазареву поручено было вызвать тридцать тысяч охотников, нашлось до девяноста тысяч, и граф разрешил звать сколько может. Сулили золотые горы -- и они покинули цветущий край, богатые деревни Урмийской долины; пришли -- и не нашли зерна хлеба, крова для головы, сучка для хранения жизни. Ничего не было приготовлено. Им отвели гибельный климат, бесплодную почву, и с этим ничтожную денежную помощь, и то одной части. Половина их перемерла, четверть разбежалась, последняя четверть влачит бедственную участь в чужбине. А Глинка, я чай, разлился в возгласах... Вот наши колонии! Посмотрите, что теперь Эривань, что Ахалцых под нашим знаменем -- это жалкие груды развалин, обитаемые шакалами. Все бежит, все сохнет. Да что говорить о дальности: на Каспии до сих пор нет парохода, хотя по газетам у нас давным-давно они крестят моря. А компания закавказская? а проекты об усмирении Кавказа торговлей? Право, стыдно и смешно говорить о том (Если в этой мрачной картине была правда тридцать лет назад, то в настоящее время все изменилось к лучшему. К. П.).

Третий том Клятвы не так занимателен как первые два. Куда девался гудочник? Он должен быть пружиной всего, а он и глаз не кажет. Поцелуйте однако ж за меня автора, как русского и как человека, которого я люблю.

Сегодня день моей смерти. В молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой своей души, и когда найду я этот упокой? Воспоминания лежат в моем сердце как трупы -- но как трупы-мощи...

Я не могу более писать...

Будьте довольны -- счастье не нам, не людям; не знаю, есть ли оно где-нибудь, но что оно не здесь, это знаю.

Ваш Александр Бестужев.

(Окончание следует.)

Текст воспроизведен по изданию: Письма Александра Александровича Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым, писанные в 1831-1837 годах // Русский вестник, No 3. 1861

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕСТУЖЕВА

к Н. А. и К. А. Полевым,

ПИСАННЫЕ В 1831-1837 ГОДАХ.

(Окончание. См. Русский Вестник No 3.)

XVIII.

Дербент. No 1. 4 января 1833 г.

Любезный и достойный друг Ксенофонт Алексеевич.

Поверите ли, что я минут десять смеялся от души замечанию вашему о черном галстуке. Смешно мне было, что я так отстал от модного света и сделал подобную ошибку (В одной из своих статей он выставил, как верх светского неприличия, явиться на вечер в черном галстуке; я заметил ему в письме, что, уже несколько лет, в черных галстуках являются на вечера все порядочные люди, а в белых -- одни лакеи. К. П.), еще смешней, что это дало повод к переписке. Благословляю вас обеими руками не только на такие, но и на всякие поправки... был бы мой смысл в речи, а за мелочами я не гонюсь. Иногда даже могу ошибиться памятью, нередко опискою, и потому, по дружбе, ваш долг не пускать меня на улицу нечесаного. В предыдущем письме, немногие ваши спорные слова зацепили меня крючками, и, может быть, я буду отвечать на них печатно, как дополнение к первой статье. Не худо, если вы в немногих словах изложите ваши противоречия. Вопрос о романтизме далеко не решен в самой Франции, хотя Гюго и вздумалось сказать, что "жалкие слова: романтизм и классицизм, упали в забвенье, наравне с глюкизмом и пиччинизмом." В зерне пороку

заклучалась уже вся система паровых и воздушных машин, ибо дым его есть и пар и газ вместе; но сколько веков протекло, покуда не угадали в природе силы расширяемости, стреляя каждый день из ружей! Едва ль не то же и с романтизмом было; но изобретение (не создание, заметьте) его полагаю я в эре христианства. Арабы и Скандинавы дали только грань ему; первообраз возник именно крестом. Я только об имени романтизма разумел, говоря о случайности -- не об идее, не о сущности, ибо не менее других убежден в различии классицизма от романтизма. Я думаю только, что последние -- ровесник уму человеческому, хотя он и редко проявлялся в древности: идея может быть и вовсе не проявляясь, ибо иное дело бытие, иное действие. Впрочем, дождавшись положительных возражений, я поговорю об этом пошире.

Сейчас получил с почты письмо ваше от 13 декабря: очень рад, что статья моя нравится вам обоим; я, признаюсь, не ждал этого, ибо, во-первых, торопился, а во-вторых, журнальные сапожки жмут мне ноги. Знаю впрочем, что вы мне льстите, сами того не замечая, а голос света, который расхватывает Загоскина и не покупает Вельтмана, правду сказать, для меня мыльный пузырь. Кстати о Вельтмане: подробности у него необычайно хороши, поэзия истинно в русском духе, но я уже сказал: повторения одного и того же рога носия мне не нравятся! Конечно, оно могло быть во все времена, но к чему поднимать одеяло столько раз с ложа стариков наших? Я не нахожу ничего забавного в этом фатализме подсунутых жен и глупых детей. И потом, он стреляет все не ядром, а картечью, у эпизодов его мало между собою связи. Правда, все они живчики, все оригинальны, все истинны -- это уже не маскарад, но еще базар Смирны. Против старины он сделал ошибку, опрокинув на нее всю Грановитую палату: ни у самого великого князя не было тогда и в сотую долю сокровищ против матери Ивы Олельковича, а Кашей хоть сказка, но цель ее знакомство с стариною, знакомство начистоту. И чем бы проиграла повесть, если бы все пышное передать Лазарю? Вы видите, что друзей сужу я строже чем других, -- про себя и говорить нечего: хоть сейчас подмахну приговор голову рубить своим чадам, не хуже Брута. Правду сказать, есть маленькая разница между своей кровью и своими чернилами!

Скажите, что за лицо Брамбеус, от которого вся фамилия Северной Пчелы в домашнем своем журнале катается с восторга? То, что читал я, так старо и подснежно!.. Разве не размахался ли он в книге своей? Пожалуйста, пришлите. Неужели Сенковский попал в гении, в равно-Байроновцы и равно-Гётевцы (как говорит Фита)? Ей-ей, мы живем в век чудес... Не верите? Спросите Ф. Б., В-ра, Б-ш-а (Здесь означение имен со всеми буквами принадлежит самому Бестужеву.); жаль только, что я им обоим не верю сам. Первый очень мил, когда примется за государственное хозяйство: видно, что остзейский картофель уродился у него в голове самсот. Он теперь хозяйничает с Гречем на русском Парнассе, как на своей пивоварне, и мурлычит на лежанке, словно заслуженный кот-Мур. Отрывок Загоскина Аскольдовой Могилы -- ниже презрения. Перемывать французское тряпье в Днепре, отбивать у других честь разных нелепостей, исказить святую старины, для того чтоб она уложилась в золотую табакерку -- скажите, достойно ли это века и писателя?.. И это-то наш первый романист! Где ж вкус на Руси, где общее мнение?.. Вы говорите, что я пощадил их чересчур (романистов, то есть) -- это правда крещеная, но я сделал это потому, что сам пишу; скажут, пожалуй, будто я мощу себе дорогу по чужим хребтам, что я завистлив.

Насчет Филантропа я не переменял мыслей ни на миг, я видел его точно таким же сперва, как теперь. Еще в 1820 году имел я с ним резкие схватки, и потому не дивлюсь никаким прижимкам, это в порядке вещей. Вас я не виню нисколько, и покуда у меня есть рубль в кармане, я не забочусь ни о чем. Кстати замечу, что уже не в первый получаю ваши письма взрезанные, без церемоний: почта здесь очень откровенна.

Болезнь Николая Алексеевича огорчает меня. И почему вы не удержите его от излишества трудов? От страстей же нет лекарства. Не всякая природа так сильна, как моя, и может выдерживать плавку золота подобно капелле. Впрочем, можно сжечь и алмаз, не только железо, а судьба знает химию.

Как водится, поздравляю с новым годом, хоть я не знаю для чего и мне и вам деление времени, -- по крайней мере мне, безнадежному скитальцу? Желая русской публике более справедливости, и уверен, что это сбудется, и полезные труды брата вашего оценятся и веком и веками.

Я нездоров. Мороз у нас сильный, и вообразите, что у меня мерзнут руки на письме -- так холодна моя хата, хоть дров жгу без милости... А вы еще требуете от меня цветов поэзии!..

Будьте счастливы; поцелуйте руку у супруги вашей, благословите за меня вашу малютку, и крепко, крепко

обнимите брата.

Александр Бестужев.

XIX.

Января 25 дня 1833 года, г. Дербент.

Милостивый государь Ксенофонт Алексеевич.

Полагаясь на испытанную доброту вашу, беспокою вас новым поручением; я уверен, что вы охотно исполните оное, ибо оно есть дело веры.

Начальнику моему, г-ну подполковнику Васильеву, угодно выменять на деньги, пожертвованные благочестием солдат храмовой образ Святого Победоносца Георгия, и на сей предмет при сем прилагается 300 рублей ассигнациями Описание же величины и вида одного усмотрите при конце письма Несомненно, что выбор ваш будет хорош; остается лишь просить ускорить высылкою, ибо желательно, чтобы в день, в честь Св. Георгия празднуемый, образ его лежал уже на налое. Если нет такой меры, или близкой к означенной мере, в таком случае покорнейше прошу заказать нарочно; а так как это дело казенное, то не поскущите приложить от мастера или купца расписку и счет за пересылку, адресуя все на имя командира Грузинского линейного No 10 батальона, Якова Евтифеевича Васильева, г-на подполковника, в Дербенте.

Если не достанет посылаемых денег, то прошу вас, в ожидании присылки из батальона, записать на меня; если же останутся, то при образе переслать обратно. Сим вы много обяжете и меня, и сослуживцев моих. С истинным уважением пребываю ваш, милостивый государь, покорный слуга Александр Бестужев. (За сим следует подробное описание образа и разных принадлежностей к нему, также наставление как уложить и переслать его.)

XX.

Дербент, 26 января 1833.

Я соскучил, добрый мой друг Ксенофонт Алексеевич, так давно не получая от вас писем. Я вижу с вами только в Телеграфе последнее время: хорошо, что и там вы во фраке, что и там вы нараспашку. Я с большим наслаждением читал статью о Державине, я с большим огорчением огляделся кругом, прочитавши ее... где он, где преемник гения, где хранитель огня Весты? Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней, -- тельцу, которого зовут Немцы, маммон, а мы, простаки, свет? Ужели правда и для тебя, что

Бывало, бес когда захочет

Поймать на уду мудреца,

Трудится до поту лица,

В пух разорить его хлопчет.

Теперь настал светлее век,

Стал крепок бедный человек --

Решенье новое задаче

Нашел лукавый ангел тьмы:

На деньги очень падки мы,

И в наше время наипаче

Бес губит -- делая богаче.

Но богаче ли он или хочет только стать богаче? или, как он сам говорил:

Я влюблен, я очарован,

Я совсем огончарован?

Таинственный сфинкс, отвечай! или я отвечу за тебя; ты во сто раз лучшее существо нежели сам веришь, и в тысячу раз лучшее нежели кажешься.

Я не устаю перечитывать *Peau de Chagrin*; я люблю пытать себя с Бальзаком... Мне кажется, я бичую себя как спартанский отрок, чтобы не морщиться от ран после. Какая глубина, какая истина мыслей, и каждая из них как обвинитель-светоч озаряет углы и цепи светской инквизиции, инквизиции с золочеными карнизамми, в хрустале и блесках и румянах!

Я колеблюсь теперь, писать ли роман, писать ли трагедию, а сюжет есть богатый, где я каждой силе из разрывающих свет могу дать по представителю, каждому чувству -- по поступку. Можете представить, как это будет далеко, бледно, но главное, то есть страсти, сохраню я во всей силе. Я, как Шенье у гильотины, могу сказать, ударя себя по лбу: тут что-то есть, но это еще связно, темно, или, лучше сказать, так ярко, что ум ослеплен и ничего не различает. Подождем: авось это чувство не похоже на самоуверенность Б. Федорова. Одним, по несчастью, сходен я с ним: это доукою вам! Поручений, поручений -- так что голова кругом пойдет!.. Но Адам Смит сказал, что раздел работ есть основа экономии. Простите до будущей.

Николая Алексеевича прижимаю к сердцу, которое, право, лучше всего меня и в перьях и в латах. Счастия...

Александр Бестужев.

XXI.

Дербент, 2 февраля 1833 г.

Добрый и почтенный друг Ксенофонт Алексеевич.

Грустно и досадно слышать, что письма мои пропадают, и это дает повод к тревожащим вас слухам, или, что еще хуже, к мысли, будто я забывчив к людям, столь меня любящим, которыми так одолжен я! Признаюсь, это отбивает охоту писать что-либо дельное в письмах, кроме здравствуйте и прощайте. Утрата письма от человека мыслящего к мыслящему есть вырванная страница из книги, которой не возродит ни случай, ни память; это отбитый нос у греческой статуи: он не обогатит варвара, который его отбил, а бедной статуе не приклеит носа никакая ринопластика.

Странная вещь, что меня ежегодно приносят в жертву Кази-Мулле! Участие это или желание? Ежели последнее, то скажите господам вестовщикам, что они рано меня отпели; что я переживу многих литературных детей их, и скончаюсь, положив голову не иначе как на написанный мною роман, и завернувшись в печатный саван критики; а так как все это случится не скоро, то пусть они позволят дожить мне в покое года два-три; пусть не шевелят моих живых костей, в живой моей могиле.

Прошу прислать мне Кашея. Странная случайность: я сам хотел избрать его предметом романа, но Иван Петрович отговорил меня. Желая видеть, ту ли идею осуществил Вельтман. Сожмите руку его, если случится повстречать.

Скажу вам приятную для литературы новость: Александр Корнилович -- рядовой в графском полку. Ему бы, правда, надо было быть, как вначале, подле меня, а то завязки ему так же мало знакомы, как женские подвязки. За то уж для подробностей его взять; притом он завзятый полиглот и оригинал, каких мало.

Кстати об оригиналах: меня просил письмом капитан Бартенев познакомить его с вами, он едет в Москву. Это не просьба, а услуга вам; вы же и без меня с печатной стороны его знаете по домашнему -- полюбите за сердце; он точно этого стоит. Вы прелюбопытные от него услышите рассказы; вы, конечно, угадаете в нем тип военного антиквария (Военный Антиквариат -- известное сочинение А. Бестужева.).

Я кашляю, но не хуею: видно, смертные вести впрок мне. С 1 февраля принялся за роман; канва в голове натянута: надобно изузорить ее получше. Когда кончу часть, пришлю на суд ваш, а в ожидании, доставлю, вероятно, отрывки для Телеграфа. Ждите, но не кляните.

Я вас задушил на прошлых почтах поручениями, но для моего воскресения вы верно не поскучите ими. Денег возьмите у Абдуллы (Письмо, где писал Б. об Абдулле, потеряно, также как и некоторые другие письма его ко мне и к моему брату. Я совершенно забыл подробности об Абдулле. К. П.). Если не дошла к вам просьба о женских шведских полудюжин перчаток -- поклон в пояс. Супруге вашей целую ручку, и по-квакерски сжимаю руку Николая Алексеевича. Vale. Ваш Александр Б.

PS. Я даже не был в Гимри: меня вспомнили, когда нужны стали реляции; но я довольно чувствую себе цену, не просил должного участия в походе, и не опишу чего не видал.

XXII.

23 февраля 1833. Дербент.

Любезный, добрый мой Ксенофонт Алексеевич -- здравия!

Что вам некогда писать, а мне писать нечего -- это не редкость; дело в том, что в первом мы не властны, а второе можно заменить пустяками, и вот почему берусь за перо. Мне грустно, когда долго к вам не пишу; втрое грустней, если от вас не получаю писем.

С каждым днем опытности, горький опыт более и более отвращает меня от людей. Признаюсь, я мало доверчив, но люди едва ль стоят и этого малого. Не говорю о прежнем; умолчу о здешних моих разочарованиях; вот моя ieremiada о моих повестях.

Я поручил сестре издать повести. Сестра у меня, надо сказать, кропотунья, но редкого самоотвержения женщина: она в беде нашей была для нас провидением... Вызвался быть издателем некто А., человек, кажется, добрый. Вели более полугода -- кончают. Он пишет ко мне, что цена будет 25 р. за экз., что, за вычетом 20 процентов, составило бы 48 т. Говорит, что покупают все вдруг, что дают деньги вперед, словом -- золотые горы; просит доверенности на продажу; я посылаю ее. Молчание два месяца. Наконец получаю письмо от сестры, в котором она жалуется на Г. и на издателя, что они не дали ей ни в чем отчета и запродали издание невыгодно, не давая ей ручательства в выручке, что именно сказано было в условии. Она предъявляет свою доверенность и разрывает условие с хриstopродавцами. Как она распоряжается, не знаю хорошенько, но уверен, что будет если не более денег, то вернее продажа. Издатели сердятся и мстят на книге. Вот уже три месяца как книга готова, а они не известили о готовности, ни о выходе, и этим много замедлили продажу в провинции и повредили оной везде. Не ищу я похвал -- не для них издавал я изношенные повести, -- мне нужны деньги, а их у меня между рук обрезают. Обещали наверное издать под собственным именем, уверяли, что это уже позволено, и потом молчок... Потом сбавили цену, и по совету Г. сбыли было издание за 33.600 р., и теперь уже трудно будет взять более. Монополия не позволяет -- терпи. Но это еще не все. Смирдин через Н. И. закабалил меня в год за пять тысяч, но его журнал не состоялся, и Н. И. извещает меня лишь теперь об этом, предлагая по-прежнему сотрудничать за 1500 в год. Я отказался, и теперь вольный казак.

Прошу вас, при известии о книге, бросить словцо о молчании С. О. и Северной Пчелы. Воейков насмешил меня до слез своею галиматьей. Его похвала хуже брани.

Что скажу про себя? Я кашляю, я желчен. Мужчины и женщины меня бесят наперегонки. Не поверите, как глубоко трогает меня всякая низость -- не за себя, за человечество: тогда плачу и досажую. Я краснею, что ношу Адамов мундир.

Но вы еще остались у меня чисты, вы останетесь навсегда таковы... По крайней мере на счет ваш я надеюсь быть несомненным.

Скажите откровенно и без крох мыслей: можете ли вы давать мне по 100 р. за лист? Мне предлагают более, но я хочу иметь дело с людьми, а не с людом. Если это тяжело для вас -- одно слово, и все по-старому. Я делаю это потому, что надежды мои не оправдались и в половину, что Бог весть, когда будут у меня деньги за издание. Во всяком случае скоро пришлю отрывок из моего романа; до тех пор, прощайте! Обнимите брата и моего брата.

Александр Бестужев.

XXIII.

9 марта 1833 г., г. Дербент.

Насилу-то вы отозвались, любезнейший Ксенофонт Алексеевич... очень рад; а то вы, считая меня мертвым, мертвы были для меня. Прошу вперед не верить много слухам, и до тех пор не прерывать переписки, покуда я сам не явлюсь к вам тенью, известить, что я отправился ad patres. И в самом деле, что за беда, что вы пришлете письмо, когда меня не станет? Добрые приятели положат его на мою могилу, и оно будет лучшим памятником для меня, лучшим утешением моей скитальческой тени. Сочно письмо ваше, в нем так много нового, так много сладкого, но прочь отравы лести, хоть невольной, но тем не менее вредной!.. Как могли вы, вместе с Пушкиным, клеветать так на Европу, на живых прозаиков, поставя меня чуть не выше их! Сохрани меня Бог, чтоб я когда-нибудь это подумал и этому поверил... Я с жаром читаю Гюго (не говорю с завистью), с жаром удивления и бессильного соревнования... И сколько еще других имен между им и мною, между мной и славою, между славой и природой!.. О, сколько высоких, блестящих ступеней остается мне, чтобы только выйти из посредственности, не говорю достигнуть совершенства!.. Надобно летать, парить, чтобы сблизиться с этим солнцем, а у меня восковые крылья, а у меня сердце на чугунной цепи, а у меня руки прибиты гвоздями судьбы неумолимой, неутолимой. О, если бы вы знали, как жестоко гонит меня злоба людская -- вы бы не похвалы сыпали на меня, а со мной пролили бы слезы... мне бы было легче. Не даром, но долей похож я на Байрона. Чего не клеветали на него? в чем его не подозревали? То и со мною. Самые несчастья мои для иных кажутся преступлениями. Чисто мое сердце, но голова моя очернена опалой и клеветою! Да будет! "Претерпивый до конца, той спасен будет" -- сказал Спаситель.

Я просил вас о Шекспире -- не присылайте его; я уже получил прекрасное издание в одном томе.

Недели через две получите отрывок из романа. Я, признаться, думаю, что его не поймут и потому не оценят; но неужели я должен ходить на четвереньках, чтоб овцы могли видеть мое лицо? Если два-три человека скажут: "это не худо", я заплачен. Пускай себе Фаддей пишет для людей-ровесников -- надобно подумать, что у нас под боком Европа, а под носом потомство. Да, чувствую я много, но это чувство больше сожигает меня чем пламенеет сквозь... Вы правду сказали: надо торопиться! Не надолго дан мне дар слова... я не жилец на земле; но что же делать, когда, кажется, все согласилось, чтобы мешать изливию невысказанных истин моих!

Поцелуйте руку у супруги вашей за вашего Александра.

Получил 300 рублей. Очень благодарен. Иван Петрович благодарит за помин и свидетельствует свое уважение.

XXIV.

9 марта.

Николай Алексеевич.

Вы с братом для меня созвездие Кастора и Поллукса: у меня отходит сердце, когда вздумаю о вас двоих, и всякий раз при этом возникает в груди моей желание жить подле вас, в тиши, в глуши... сделаться именно *homme lettre* -- два часа в день с вами, остальное с собой, с книгами, с природой. Признаюсь, такая жизнь есть один из воздушных замков моих, и сколько он ни мало-блестящ -- увы! почти нисколько не исполним... Не только башен Кремля, столь горячо любимых мною, -- не видать мне и снегов родины, снегов, за горсть коих отдал бы я весь виноград Кавказа, все розы Азербиджана -- у них одни шипы для изгнанника.

Я очень грустен теперь, очень (Незадолго, 23 февраля, нечаянно застрелилась в его квартире девица Ольга Нестерцова. Это несчастье и пагубные для Бестужева последствия его подробно описаны в письме к Павлу Бестужеву, напечатанном в Отеч. Зап. 1860 г. Май, стр. 161. К. П.); я плачу над пером, а я редко плачу! Впрочем, я рад этому: слезы точат и источают тоску, а у меня она жерновом лежала на сердце. Последний раз я плакал с месяц назад, читая рассказ Черного Доктора (Сочинение Альфреда де-Виньи. К. П.)... Когда он пал на колени и молился, я вспомнил, что сам я молился точно так же и, читая вслух, в одном доме зарыдал и упал на книгу, -- я не мог преодолеть воспоминание: оно встало передо мной со всею жизнью и со всею смертью!

Повесть ваша Блаженство безумия -- прелесть. Я бился об заклад, что она ваша, и выиграл. Жар сердца

расплавил слог ваш, не всегда столь развязный, как теперь. Жду с нетерпением конца.

Давно ли, часто ли вы с Пушкиным? Мне он очень любопытен; я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите, что нет судьбы! Я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его повозку: мне сказали, что он у Бориса Чилиева, моего старого однокашника: спешу, приезжаю -- где он?.. Сейчас лишь уехал, и, как нарочно, ему дали провожатого по новой окольной дороге, так что он со мной и не встретился!.. Я рвал на себе волосы с досады, -- сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас, на долгие, может быть на бесконечные годы. Скажите ему от меня: ты надежда Руси -- не измени ей, не измени своему веку; не топи в луже таланта своего; не спи на лаврах: у лавров для гения есть свои шипы -- шипы вдохновительные, подстрекающие; лавры лишь для одной посредственности мягки как маки.

Не знаю почему, треть моих повестей не напечатана: Два вечера на биваках, Изменник, Роман и Ольга, Рассказ пленного офицера, Дагестанские письма, и кое-что еще. Не купят ли в Москве их для печати (но в одном формате с пятью первыми); потолкуйте с книгопродавцами. Туда я бы прислал конец к Водам и Фрегат Надежду. *C'est en passant.*

Будьте счастливы. Ваш Александр Бестужев.

XXV.

16 марта 1833.

Писал к вам неделю назад; пишу и теперь. В этот раз строки мои будут сама проза -- нет в голове ни мысли для передачи... так все они черны и не общежительны. В увеличение скуки прилагаю по поручению 125 р. асс. для покупки медицинских книг: прикажите кому-нибудь исполнить это. Я уже не смею и извиняться в моей назойливости, но погодите, это скоро кончится. Дербент для меня передняя ада -- так преследует меня в нем глупость, то есть злоба людская. К тому же, Ивану Петровичу вышла отставка, и он уедет -- я останусь на жертву скуке, чтобы не сказать чего-либо более. В это время я ничем не мог заняться: болен телом, душой еще более. Извините, могу лишь пожелать вам счастья, которого не предвижу для себя. Провиденье, кажется, испытывает меня и тяжко...

Обнимите брата Николая Алексеевича, поцелуйте руку за меня у супруги вашей, пусть цветет здоровьем ваша малютка.

Ваш душой Александр Бестужев.

Дербент.

XXVI.

Дербент, 1833 г. апреля 5 дня.

Христос воскрес!

С тех пор как дышу я подлунным воздухом, не встречал я так печально светлый день Пасхи, как нынешний. Больной говел я, но, причастясь в четверг, я был сломлен болезнью новою, так что если бы не сильный прием каломеля, я был в готовности отправиться *ad patres*. Теперь оправляюсь, но еще бледен, худ, грустен. Письмо ваше было единственное яичко, которым я разговелся. Дивлюсь, что вы жалуетесь на молчание мое: мне кажется, что писем моих к вам никак нельзя назвать редкими.

Случается, что по две почты сряду пишу к вам, и никогда лень моя не старается далее трех недель. Чудеса в решете наша почта: она, кажется, как страус, глотает даже бумагу -- и нет на нее ни суда, ни расправы. Между прочим, получили ли вы от 16 января посланные 1800 р. для покупки коляски и пр., потом 25 р., потом 120 р.? Насчет коляски я уже писал, чтоб ее отправить в Астрахань; оттуда легко найти случай. Эту обязанность должно возложить на Татарина, коему было вложено письмо; от него же взять и недостающих денег. Если же он уклонится по мусульманской совести, то немедленно дошлются деньги отселе. Ш-в душевно благодарит вас за то, что взяли на себя хлопоты покупки для него коляски; он благороднейший человек, каких только я знаю, и одолжение ваше не упадет на камень. Про меня и говорить нечего -- вас я считаю не иначе как братом, и братом не нынешнего света. Так как вы имеете теперь 200 экз. Повестей и Рассказов моих, то, если угодно, можете уплатить себе из вырученных денег то, что я причитаюсь вам

должен (сколько это?), или, если угодно дождаться до светлых часов, я уплачу статьями. За прежний долг по прежней цене, а далее посмотрим. Вы не ошиблись, что на меня нашел черный дух -- и черный день, прибавлю я. Со временем напишу почему и как. Скажу одно: я игралище судьбы -- азиатский фатализм в Азии не заблуждение, а сущность. Впрочем, как бы ни шипела низкая злоба, моя невинность броня моему, сердцу. Сталь привлекает молнии, но молния сама бессильна разрушить сталь.

Благодарю за Странника; он однако ж очень худощав. Песнь Игорю переведена слишком вольно, и напев его однообразен что-то. Бологом -- добром, а не по холмам. Сулица -- копье; зачем же он перевел: побросали пращи? Кониная, как он хочет, конская; у Нестора, который говорит иногда комонь, есть, что конина голова (в стане Святослава) продавалась по гривне. -- Отчего таковины -- насекомые, не вижу. -- "Н рози нося им хоботы пашут" для меня все еще загадка. Охоботья у нас Новгородцев называются обломки колосьев в молоченом хлебе. Вероятно, что это конец, хвост, но почему "рози нося" и пр.? Им даны роги; хвосты землю пашут? -- Во многих местах выражение обессилено другою картиной. "А злата и сребра ни мало того потрепать" -- прелестно, живописно; но перевод: "нам не бречать уж", и неверен, и повторяет сказанное выше.

Суждение ваше обо мне пристрастно. Пожалуйста забудьте, писавши о сочинениях, что вы любите сочинителя. Впрочем, для нас "скоро настает потомство", оно рассудит и провеет суждения. Дай Бог, чтоб я не был волной между волнами, чтобы мое вдохновение не было ветер мимолетный... О, если бы судьба дала мне хоть один не отравленный людскою злобою год, чтоб я мог попробовать крылья свои не спутанные в цепи! А то, едва я пытался было на дельную вещь (роман), судьба одела меня грозовою тучей. Я не имею ясности духа вылить на бумагу, что кипит в душе, но это пройдет, и я пришлю к вам отрывок, в коем изображу поэта, гибнущего от чумы... поэта, который сознает свой дар и видит смерть, готовую поглотить его невысказанные поэмы, его исполинские грезы, его причудливые видения горячки. Пусть не поймут меня, но я буду смел в этих безумствах.

Братнее объятие Николаю Алексеевичу; супруги вашей мыслью целую ручку, дочери -- мое изгнанническое благословение.

Неизменный ваш Александр Бестужев.

XXVII.

Дербент. 1833 года мая 18 дня.

Не беспечность, еще менее гнев виной, любезный друг Николай Алексеевич, что я реже пишу к вам. Я боюсь возмутить душу вашу, помешать вашим занятиям. Какое мне дело, что вы не пишете часто, если и в редких письмах я узнаю вас и нахожу тем же? Между душой и душой путь слово; но когда они летают друг к другу в гости, не все ль равно, часты или редки станции? Оставим эти расчеты ползунам, и людям, которые везут жизнь на долгих. Я смею думать, судьба оставила в наших крыльях еще столько перьев, что хоть душою можем мы пролетаться, когда и как вздумаем. Терпеть я не могу шапочных переписок, хоть очень не редко, по необходимости, должен бываю писать и к друзьям, будучи, что называется, не в духе. За неволю пишутся пустяки, их выводить перо, гусиное, давно вырванное из крыла перо, -- голова или сердце в нетчиках.

Напрасно вы отпеваете себя как домашнего человека, или просто как человека, хоть побожитесь -- не поверю, и в доказательство приведу ваши же письма. В трупe живут лишь черви, на кладбище мелькают лишь блудящие огоньки -- цветы и огонь признак здоровья и жизни. Я не постигаю вашего расщепления бытия, грешный человек, или, признательнее сказать, ему не верю. Может ли умереть Николай, когда Полевой жив за сотню? мажет ли жизнь быть переплетена со смертью? Или то или другое должно уступить -- зараза или цельба должна овладеть спорным существом непременно; а, благодаря Бога, не видать, чтобы вы чахли умом, и сами говорите, что крепки телом. Вы называете это отсутствие желаний для себя болезнью, чарою, не знаю чем еще, а я вижу в этом средство Провидения заставить вас быть полезным для других. Из иного судьба выжимает поэзию, так что она брызжет из пор бедняги с кровью и слезами; других она купает в вине и в масле, и творения их текут как финиам, как токайское, с розового ложа. Для того нужна узда, для другого шпора. Меня, чтобы пробудить из глубокого сна, стоит только назвать по имени; другой просыпается лишь при звуке золота. Козлов стал стихотворцем, когда перестал быть человеком (я разумею телесно); другого, напротив, малейшая боль выбивает из петель. Конечно, для нашего брата очень невыгодно, что судьба мнет нас будто волюнку для извлечения звуков; но помиримся с ней за доброе намерение и примем в

уплату убеждение совести, что наши страдания полезны человечеству, и то, что вам кажется писанным от боли, для забвения, становится наслаждением для других, лекарством душевным для многих. Впрочем, всему есть мера, а вы чересчур предались идее отлучения, разъединения человека дельного от человека мирского, вы дали ей оседлать себя, да еще и глаза завязать. Это вредно и для здоровья и для сочинения. Память надобно питать новинками, чтоб она не истощилась; а отчуждаясь от света, в коем живем, мы мало-помалу становимся чужды и для него. Вы скажете: "я живу в старине", но глядеть на нее надобно сквозь современный ум, говорить о ней языком, понятным ровесникам нашим. Возможем ли оживить мертвых, если сами будем мертвы для живых? Да, уединение необходимо для выражения того, что в нас, но кипение жизни, но пыл страстей, но трение отношений необходимы, чтобы наполнить нас. Хороши краски кабинета, но краски природы лучше. Моя палитра -- синь моря, радуга неба, льдины гор, мрак тучи. Колдун -- воспоминание; но живая природа -- Бог. Она свежит, она вдыхает, она сама расстилается слогом. Но неужели природа только в волнах, в горах, в зелени? Ужели человек не часть ее? Потереться порой между румянами и шумихой, подслушать лепет и говор толпы, рассмотреть в микроскоп какую-нибудь страсть-букашку, хоть не так приятно, как вид заходящего солнца или песнь дубравы, но едва ли не более поучительно. Как вы ни вертитесь, человек создан для общества: платите же ему дань мелкою монетой; но как бы ни мелка была она, общество вам сдаст за это. Гулять также нужно в лесу, как и в залах. Охотиться можно в обществе столь же удачно, как в поле. Сохрани вас Бог жить в болоте; но чтобы написать болото, как Рюисдаль, надобно взглянуть в него. Жалки мне были всегда люди, но более забавны чем жалки, и признаюсь, мне бы страх хотелось иногда на миг промелькнуть сквозь все круги общества. Вообразите себе мое положение: я не могу жить ни с стариной, ни с новизной русской, я должен угадывать все-на-все! Мудрено ли ошибиться? Впрочем, один другому не пропись -- я создан так, вы иначе. И напрасно жалуетесь на то: вы наполняете бездну, чтобы не утонуть в ней, а я с горя кидаюсь в нее очертя голову. Бездействие мое доказывает мне, что я не призван ни на что важное. За гением след кипучей деятельности.

Вы правы, что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я не достоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но знаю себе цену, и как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский, завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя. Не вините крепко меня за Бальзака: я человек, который иногда может заслушаться сказкой, плениться игрушкой, точно так же как сказать или сделать дурачество. Вот почему и Бальзак увлек меня своей Шагреневою кожей. Там есть сильные вещи, есть мысли, если не чувства глубокие. Выдумка стара, но форма ее у Бальзака яркая, чудная, и потом он мастер выражаться. Зато в повестях его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика, резким перстом наброшенный. В Нодье я сроду ничего не находил и не постигаю дешевизны похвал французской публики: она со всяким краснописцем носится будто с писаную торбой. Перед Гюго я ниц... это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность, и топчет в грязь все остальное и всех нас писак. Но Гюго виден только в Notre-Dame (говоря о романах). Его *Han d'Islande* -- смелая, но неудачная попытка ввести бойню в будуары. Бюг Жаргаль -- золотая посредственность. И заметьте, что Гюго любит повторять свои лица и свои основные идеи везде. Ган, Оби, Квазимодо -- уроды в нравственном и физическом родах... потом саможертвование в Бюг, в Гернани, в Марион де-Лорм... Это правда, что он как по лестнице идет выше и выше по этим характерам; но Шекспир, человек более гениальный, этого не делал, а нам, менее даровитым, на это нельзя и покушаться. Надобна адская роскошь Байрона в приправах, чтобы разнообразить вырванное из человека сердце, которым кормит он читателя. Кромвель холоден и растянут: из него можно вырезать куски как из арбуза, но целиком -- нет. Мариона прелестна: это Гец для времени Ришелье. Полагаю, что Борджия достойна своей славы, и жажду прочесть ее. Кстати, Последний день осужденного -- ужасная прелесть!.. Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной. Пускай жмутся крашенные губы и табачные носы, читая эту книгу... пускай подсмеиваются над нею кромешные журналисты -- им больно даже и слышать об этом, каково же выносить это!.. О, Дантов ад -- гостиная перед ужасом судилищ и темниц, и как хладнокровно населяем мы те и другие! как счастлива Россия, что у ней нет причин к подобной книге!

Клятву перечитываю для последнего тома, только что полученного; кончив, скажу свое мнение, -- не приговор, ибо человеку не по чину произносить приговоры. До тех пор скажу лишь, что я в ней находил Русь, что я здоровался с земляками, и не раз пробивала меня слеза.

Вы пишете, что плакали, описывая Куликово побоище. Я берегу, как святыню, кольцо, выкопанное из земли, утучненной сею битвой. Оно везде со мной; мне подарил его С. Нечаев. О своем романе ни слова. Враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать.

Не дивитесь, что я знаю морскую технику (Читая Фрегат Надежду и Лейтенанта Белозора, Н. А. Полевой удивлялся, каким образом Бестужев, кавалерист, знал все подробности корабля и службы на нем. Вероятно, он писал ему об этом. К. П.): я моряк в молодости и с младенчества. Море было моя страсть, корабль пристрастие, и хотя я не служил во флоте, но конечно не поддамся лихому моряку, даже в мелочах кораблестроения. Было время, что я жаждал флотской службы, и со всем тем предпочел коня кораблю: с первого скорее соскочишь. Воспитание мое было очень поэтическое. Отец хотел сделать из меня художника и артиллериста. Я вырос между алебастровыми богами и героями, а потом между химическими аппаратами и моделями горного корпуса. Лето скитался я по Балтике с старшим братом. Судьба сделала из меня кавалериста, и, не знаю, призвание ли -- сочинителя. Но это требует рам пошире: где-нибудь я опишу мое ребячество и мою бурную юность. Но где довольно черной краски, чтоб описать настоящее? Тот, который ни одной строчкой своею не красил порока, который сердцем служил всегда добродетели, подозреваем благодаря личностям, Бог весть в чем. Но об этом после. Лист кончен, но мое vale стоит в начале разговора. Будьте счастливы и дома, и в свете, и в трудах своих, до скорого свидания мечтой. Ваш, весь ваш

Александр Бестужев.

XXVIII.

18 мая.

Я бы скорее устал благодарить, чем вы одолжать меня, любезный Ксенофонт Алексеевич! Совестно принять и нет средства отказаться от предложения, столь дружески сделанного. Tar auf Tar! Дай только Бог вам терпения при издании моих пустяков (Вследствие вызова его в одном из предыдущих писем, я предложил ему доверить мне издание сочинений его, не вошедших в первые пять томов, напечатанных в Петербурге. К. П.). Делайте как и что заблагорассудите. Доверенность получите сегодня же. Вечер на кавказских водах отдайте попозднее, хочу докончить. Как вы думаете: вместить ли Гуда и Поездку в Ревель? Если не рассудите, то выньте для печати рассказ майора Крона и Гедеона Б. Располагайте и карнайте все как угодно, -- я издаю не для славы. Скоро пришлю поправки, какие помню, ибо не храню старых журналов. С Богом! Заглавие то же самое; начало с 6-й части; формат и шрифт подобные Гречевским. О Ливонии чего-то не видел в печати, но когда-то начал, не помню что такое, вздорец, но не конченный; он пропал у меня между многими другими бумагами. Пришлите хоть строчку, я узнаю, мое или нет.

Пушкин имел зародыш аристократии давным-давно: он мне не раз писал, что предок его "Немец честен" выехал из-за моря; с другой стороны он забирается в Ганнибалы, хоть и проданные за пол-аршина фризу. Это очень забавно в наш век. Братец ваш пишет, что И. П. мой ангел хранитель, что он не делит его со мной. Наверно, И. П. похвастал что-нибудь! Он точно любит меня, но сделать многого он не мог для меня ничем, и одолжения наши были взаимны. Он добрый малый и очень не глупый, но он любит парад даже в чувствах... В нем осталась гвардейская привычка выказать больше чем в состоятельности (Говорится о временах давно прошедших...). Впрочем, я очень благодарен за его дружбу, но рекомендую более Михаила Корсакова: он ветренее снаружи, но крепче внутри. Может, вы с ним познакомитесь. Они оба едут в Русь через три дня, а я, бедняга, остаюсь один с врагами.

Ваш Александр.

Желание ваше насчет Клятвы исполню сop amore. Это не дар, а дань, или лучше сказать долг словесности (Я писал ему, что он сделал бы одолжение и публике и автору Клятвы при Гробе Господнем, если бы развил подробно свои мысли об этом сочинении, которое так нравилось ему. Следствием была известная его блистательная критическая статья. К. П.).

XXIX.

15 июня 1833. Дербент.

Отправляясь с одним полковником в Табасаранские горы, может-статься на месяц, спешу уведомить вас, многолюбимый Ксенофонт Алексеевич о получении посылки с книгами, счетов и вести о коляске. Я не знаю

уж как вас благодарить, не знаю какую краской краснеть, что тем, кого уважаю всех более, делаю всех менее. Но ежели Бог даст жизни, вы увидите, что я умею ценить дружбу. Я уже дважды писал к вам, чтобы вы взяли должные мною деньги из вырученных за книги мои, и если вы сего не сделали из ложного стыда, поделом вам. В делах денежных надобен счет и уплата. В этом отношении я не люблю поэтических вольностей. Итак, если за вторую сотню не посылали к сестре, удержите их и сквитайте рублей тысячу. 500 я по приезде к вам отправлю. Теперь ни полушки, ни минуты лишней. Сестру уведомяте о моей воле, впрочем я к ней о сем писал. Вы не даром дивитесь, зачем она не высылает мне денег; но с одной стороны, привычка к экономии убеждает ее, что холостой человек не может тратить такую кучу денег, как я делаю; с другой, все мои страховые письма воротились, вместе с распоряжениями весьма нужными, ко мне. Адрес был к матушке, а она в это время случилась в деревне, и вот я, благодаря излишней осторожности, должен платить за письма, которыми я надеялся уплатиться. Если же вы отослали все деньги за 200 экземпляров, то, когда это будет вам не тяжело, возьмите еще 100 от сестры. Но прошу брать за комиссию. За что вы будете дарить вам следующее? Это безгрешный и должный барыш. Притом же вы теряете проценты, употребляя свои деньги на мои покупки. Во всяком случае, если бы даже меня не стало, мои родные уплатят за меня. Я еще в состоянии уплатить столько, тем более, что вы мой единственный заимодавец.

Ж. уехал; будет на горячих и под осень явится домой. Предупреждаю вас, что он очень добрый малый. Духи возьму я. Не помню, поставлены ли они были в мой счет.

Если нет, вставьте и при случае так уведомяте его. Он мне должен, и потому это не присвоение.

У нас были жары удушающие доселе, и я рад освежиться в ледниках горских. Что за прелесть тот край!.. Я был там, но в этот раз врежусь далее, под видом Татарина. Я говорю довольно хорошо, чтоб обмануть Лезгин. За смелостью же дело не станет. Духом я гораздо покойнее. Благороднейшие высшие начальники умеют отличить клевету от истины, и сделали это в отношении меня. При бароне Розене, я уверен, на Кавказе не житье мерзавцам. Это светлый ум и светлая душа.

Ну, итак до будущего случая. Супруге вашей благодарен сверх сердца за классиков итальянских. Теперь нужен лексикон портатив и сокращенная грамматика. Обнимите брата нашего Николая. Да Провидение хранит всю вашу семью. Сердцем ваш

Александр Бестужев.

Конь ржет и пышет у ворот; как жаль, что не с вами разопью стремянную чару!

(К этому времени относятся два следующие за сим клочка, принадлежащие к затерянным письмам Бестужева. Из них второй важен тем, что объясняет письмо о вдове Нестерцовой. (См. далее.) Замечательно, что в одном письме ко мне (также потерянном) Бестужев подробно описывает, как в квартире его застрелилась девушка, и какие горькие следствия для него произошли от того, но не называл этой девушки. В письме о вдове Нестерцовой нет и намека, что он за смерть ее дочери вменял себе в обязанность быть благотворителем несчастной старушки. Видно, это была такая струна в его сердце, которой он не хотел коснуться даже в дружеском письме, и выдумал конечно небывалый заем денег у Нестерцовой.)

XXX.

Мне чрезвычайно совестно, что я чрез других забрался в такие долги, и если б это случилось не с вами, мне бы это было очень тягостно.

Уведомяте пожалуйста, получили ли вы доверенность на издание? Она была послана с книгами Le Roy. Жаль, что я не имею здесь С. О., в коем помещены были не тиснутые пьесы -- ошибок куча. Велите переписать и прислать ко мне военный рассказ об Овечкине и Щербине: он помещен в Беседе у большого литератора, в Сев. Пчеле 1825 года, в июле. Я написал его со слов и неверно, но теперь поверил все на месте -- надобно поправить. Не забудьте тоже карманный итальянский словарь. О коляске нет ни слуху, ни духу, но вероятно, что на сих днях должна прибыть. Прочие посылки все получены, и дамы не нахвалятся, а о благодарности супруге вашей и говорить нечего. Собираются писать к ней сами. Жары у нас несносны. Поля сгорели. В городе свирепствует оспа, и смертность необычайная, но это такие явления, что они не мешают мне спать ни одною минутой. Жизнь здесь, без гиперболы, -- копейка. Обнимите брата нашего Николая и примите к сердцу мое братнее объятие.

(Без означения числа.)

Ваш Александр.

XXXI.

Еще слово: я занимал здесь у одной вдовы унтер-офицера Нестерцова деньги. При отъезде ее в Россию, я не мог выплатить всего и остался ей должным 600 рублей. Для сего я дал ей письмо, которое она, но приезде домой (не знаю куда), пошлет к вам. По сему письму, дружбы ради, прошу вас послать ей сначала 300 рублей, а потом в мае 1831 года еще 300, но не иначе как получив ее расписку в получении первых и при ней вторую записку моей руки. Не знаю, как идут у меня деньги и куда? живу я вовсе не роскошно. Впрочем у меня есть братья, и потом все несчастливцы мои братья, и потом я не умею отказать, иногда без расчета даже. Это уж и не добродетель, а просто слабость... Да вы сами таковы!

Fates le, de gracc

(Без означения числа.)

XXXII.

Милостивый Государь, Ксенофонт Алексеевич

Надеясь на испытанную дружбу вашу, прошу исполнить неизменно и без медления следующую просьбу.

Быв в Дербенте, взял я заимообразно у вдовы унтер-офицерши Матрены Лазаревны Нестерцовой денег ассигнациями шестьсот рублей, а как при отъезде ее уплатить оных я не мог, то прошу вас по сему письму уплатить сказанные 600 рублей в два срока, в каждый по триста рублей: первый срок в январе 1834 года, второй в мае того ж года. Деньги сии вы возьмете или из моих, как я уведомлял вас, или, паче чаяния, если таковых не будет, то запишите на меня, и если б даже я в это время умер, то истребуйте от сестры моей Елены Александровны, для которой все мои заветы священны. Вы по сему письму вышлете 300 рублей по приложенному адресу; но для второй отсылки обождете уведомления от вдовы Нестерцовой о получении, при коем приложит она записку мою на вторую половину, то есть еще на 300 р. О полной уплате не оставьте вы меня уведомить. А впредь, если случатся от Нестерцовой какие письма ко мне, то прошу вас препровождать ко мне как можно скорее. Я принимаю в положении ее семейства душевное участие, и зная, как любите вы меня, не сомневаюсь, что вы исполните сие поручение, как и все другие, коими вы меня обязали. О подробностях буду писать к вам особенно.

С уважением емь ваш душою

Александр Бестужев.

Июля 1 дня 1833.

Г. Дербент.

Адрес: Матрене Лазаревне Нестерцовой, в городе... вдове унтер-офицера, в улице... в доме...

В получении попросить расписки.

Вторая записка за мою подписью будет послана, равно как и сие письмо от Нестерцовой, вместе с уведомлением о получении первых 300 рублей. После сего, в мае 1834 года, вы вышлете и остальные, с истребованием расписки. (На обороте сего письма каракулями написано: Письмо на адреси пиштия утаганрох наима николая аликсевича трусава на новай базар.)

XXXIII.

5 октября 1833 года. Дербент.

Любезнейший, добрейший Ксенофонт Алексеевич!

Не знаю право, на что похожа моя критика; промолчав так долго, я будто сорвался с цепи, и оттого что повел издали речь свою, должен был урезывать многое: рамы теснят меня!.. Притом, если бы вы знали, как пишу я!.. Урву минуту сегодня, полчаса завтра. Служба, и что еще хуже, несносные посетители, которые терзают меня из-за рюмки водки, из-за чашки чаю, из того, что им нечего делать, истребляют меня; угар от их глупости остается надолго, въедается даже в платье, а скрыться от них не имею удобства. Счастливы вы!

встаете утром и говорите: сегодня я сделаю то-то, пойду туда-то, и это исполняется; а я часто прерван в самом разгуле, и потом бегай за потерянным миготом, связывай порванные узлы! Мудрено ль после этого, что рубцы у меня видны везде? Не хочу, впрочем, гладить их, пусть читают мой быт в каждой строчке: жизнь слишком коротка, чтоб ее отдавать за мнение какого-нибудь Надеждина. Окончание получите непременно через неделю, но подстриженное поневоле. О стихиях русского романа напишу особую статью. Отсылаю вам 4 части Жаргала и Кромвеля, оба мне не нравятся.

У нас покуда тихо, и горцы у себя шумят против нас, но еще не набегают.

Что делается у вас в словесном мире? Смирдин и компания объявили журнал? Хорош должен быть он, когда главным достоинством его, по их собственным словам, будет знание в книжной торговле! До презрения жалка мне словесность наша, когда она в такой молодости продажна! Что ж будет она далее? Писать, имея целью четвертак!.. (Надобно сознаться, что в нем был дар предвидения! К. П.) Мудрено ли, что их творения и не стоят более. Руссо чуть не умирал с голоду; Сервантес кормился пайком солдатским; но они писали не для того, чтобы жить до смерти, а жить по смерти. У нас же, эти ремесленники умеют из всего высокого, благородного вылить копейки; умеют захватить в свои руки и похвалы и ободрения, из которых они делают торговлю, и беда тому, кто захочет обойтись без их приязни, получаемой напрокат: они подорвут его, если не в мнении публики, то в продаже публике. Товарищество Смирдина сделало все, что могло, чтобы замедлить мои повести, рассердясь на сестру мою за разорвание с ними контракта. Я смеюсь этому и решительно отказался хоть строчкой помогать им. Довольно, что за год они сыграли со мной штучку, известив уже в марте о несостоянии нового журнала и выманив тем за бесценок повесть. Обжегся я на многих, и между прочими всех более на А., издателя повестей, который взял слишком три тысячи и ни гугу. Полно об этом вздоре. До будущей почты.

Ваш Александр.

(Из следовавших за сим и потерянных писем Бестужева сохранился один листок, принадлежавший, как видно из означения числа внизу его к письму от 2 ноября. В нем любопытные подробности касательно языка. Этот листок начинается окончанием предыдущей фразы: так и печатаем его здесь.)

XXXIV.

... вам. Это для меня всего приятнее, и стало быть всего впереди.

В Поездке помню только одну ошибку, -- в Гедеоне Б-в; напечатано: и верхи лат разбитых, надо быть иверии. В Рассказе Офицера поставьте: земля Устов, вместо Эстов. Так зовут Тавлинцы Асетов. Много бы надо поправить, да нет под рукой. Ошибки в первых пяти томах пришлю для припечатки к 6-му. Покуда баста о чепухе.

Прочел я 4-й том Истории, очень хорош. Ясно, горячо, ново. Перечитаю, скажу более. От Кащея ждал я больше рыси, гораздо больше, и ожидание мое осеклось. Подробности его точно прелесть; царь Омут хоть взят у простого народа, но чудо как мило поэтизирован. За то что за мысль повторять дурней в трех поколениях, и все одни и те же похождения роковых рогов, -- как это холодит нас к его рассказу! И потом, что за страсть коверкать язык по старинному!.. Произвольное толкование его слов тоже слишком неосновательно. Об этом напишу особо. Новгородское наречие мне знакомо, татарский язык тоже, и потому я могу судить о спорных словах с большею основательностью. Слова овкач не нашел еще, но спрошу у Лезгин. Алама слова нет; есть алата, именно русская гривна, и я думаю, что это ошибка: приняли т за м. Присылайте ко мне о таких вещах запросы, я пороюсь в горах и может отыщу что-нибудь скорее чем те, которые не знают до сих пор, что саадак -- лук, а не тул, везде, от Камчатки до Ганга. Будьте счастливы. Поцелуйте за меня ручку у супруги вашей, обнимите нашего брата.

Ваш Александр.

2 ноября.

Кто такой Брамбеус? не Шевырев ли?

XXXV.

(Это письмо напечатано в Отеч. Записках в 1860 г. (июнь), вместе с письмами Бестужева к его брату, и отнесено к 1834 году явно несправедливо: Б. упоминает о журнальных статьях, дошедших до него конечно

не через полгода; сверх того, он упоминает о приложенном к письму ответе на выходку С..., а этот ответ сохранился у меня в подлиннике и означен 9-м ноября 1833 года, как можно видеть здесь же, далее. К. П.) Обнимите за меня Николая Алексеевича, любезный Ксенофонт, обнимите крепко, крепко: это за его Живописца! Да, я, как женщина, безотчетно говорю: прелесть, но я отчетно чувствую эту прелесть. Какой я бездушник был, когда сказал, что слог был виной неуспеха Клятвы, слог! Нет, черствые души читателей... Но все-таки я изумляюсь: язык в Клятве и язык в Блаженстве Безумия, особенно в Живописце, две разные вещи, это писал другой человек; зачем же не всегда он пишет таким слогом, зачем? И я, я это спрашиваю! -- я, который двух часов не бывал ровен! Я плакал, я заставил рыдать, когда читал эту повесть... я ужаснулся даме (Так напечатано в Отеч. Зап. Но вероятно, должно читать same.), когда прочел другому (?). Да, я чувствую, что я мог натурально выразить Аркадия, особенно ревность его; я глубоко бывал растерзан ею, и не раз, а этот Прометей!.. О! знаете ли, что сегодня ночью (это не сказка) я видел во сне над собой этого огромного орла: он пахал холодом с широких крыльев в сердце мое; я хотел бежать и не мог... и потом я видел землю великанов, бродил между ними, с опасением, но без страха; они говорили со мной, но я не понимал их языка... Кровь моя была взволнована чтением; да, я чувствую, что автор такой повести может быть утешен, внушив человеку мыслящему столько мыслей, столько ощущений! Не завидую, ей Богу не завидую Николаю; но досада есть на себя. Впрочем, могу ли я писать вполне, оглядываясь на все стороны? Я уже одичал, я уже не сумею ладить с цензурою, торговаться с нею!

Мысли мои кипят; не могу писать складно; в голове нет autoclave. При том я взбешен на ...; он грабит меня с А-вым пополам, вопреки 20-ти писем отдает тому деньги, а тот берет и даже писать не хочет. Как невообразимо гадки люди, за горсть гривенников они продадут и честь и совесть... Не поверите, как мне прискорбно видеть в людях такие низости; я бываю надолго убит разочарованием, и не эгоизм, не вред себе огорчает меня, но черты грязи на сыне небес.

Прилагаю мой ответ на выходку С... Мерзавец! Как смел он играть мною? Или думал, не известя меня даже о своем издании, купить мое слово или мое молчание деньгами! Деньгами? когда я за двусмысленность не купил бы даже и свободы, первого, единственного блага и желания души моей...

Я физически не болен, но душой и не вылечивался, свидетель тому моя критика; досадно, что послал ее, лишнего много, нужного мало... Вижу; но пусть все-таки в ней почитают человека, если не вскрышку искусства. Будь что будет. Я опять к вам с канюченьем, прошу, исполните эти вздорные поручения. Посылаю 100 р. Не извиняюсь, зная вас. До следующей почты. Ваш душой

Алекс. Бестужев.

(К этому письму принадлежит, следующий протест, писанный рукою Бестужева:)

Милостивый государь,

С изумлением начитал я в -м номере Сев. Пчелы, в исчислении гг. сотрудников вновь издаваться имеющего г. Смирдиным журнала Библиотека для Чтения, мое имя. Хотя я считаю себя не более как червячком в печатном мире, но все-таки не хочу, чтобы меня издавали г-да спекуляторы на уду для приманки подписчиков, без моего спроса и согласия. А потому покорнейше прошу вас припечатать в Телеграфе известие, что я не только не буду, но и не хочу быть сотрудником г-на Смирдина; что в журнале, им издаваемом, ни теперь, ни впредь не будет моей ни строчки; что не только из сочинения моих, но из моего имени даже не продавал и не обещал я ему ни буквы. О поступке же г-на Смирдина, нарушающем не только личность, но и собственность писателя, предоставляю судить всей добросовестной публике. O tempora, o mores!

С уважением, и проч.

Александр Марлинский.

9 ноября 1833 г.

Дагестан.

XXXVI.

Почтенный друг Ксенофонт Алексеевич.

И без письма вашего от 14 января угадывал я, в какую тяжкую борьбу вступили вы с людьми и обстоятельствами, принимаясь за журнал. Кровавым потом смазывается рычаг,двигающий вперед народы, но подвиг двигателей не остается незаметным или незамеченным в бездне потомства. Работайте. Я тем более ценю терпение ваше, что сам нисколько к нему не способен, и чувствую, каково для человека выносить подлейшие прижимки... Говорю по опыту, ибо однажды чуть не прибил Кр., выведенный из себя его вандализмом.

Письмо это прервано было получением от вас книг и пелеринки для Шн. и помады. Письма при этом не получил; книги размокли в каком-нибудь горном потоке, и это к добру Брамбеуса: авось он не будет так сух, как я его представляю себе. Еще получил я диковинку-письмо, и от кого вы думаете? от Фаддея! Оправдание Г. и См., обвинение сестры Елены (которую несчастье точно сделало чересчур подозрительною), и наконец, разумеется, выходки против вас и предвещание, что вы меня обманете, обсчитаете, и Бог весть что. Я не сомневаюсь, что Б. любит меня, ибо я ничего не сделал такого против него, за что бы он имел право меня разлюбить; но что он любит более всего деньги, и в этом трудно усомниться. Впрочем, я не потерял к нему приязни; в основе он добрый малый; но худые примеры и советы увлекли его характер-самокат. Не постигаю отчего они так клеветают на вас? Врагом по литературе позволено быть, но личность есть вещь святая, и смешивать частную жизнь с публичным изданием есть низость (Здесь могу повторить замечание мое о непостижимой ветрености или способности увлекаться до противоречия себе;, которая было несчастным свойством Бестужева. В одно время, об одном и том же лице -- два разные мнения! К. П.).

Письма адресуйте покуда в Тифлис, Павлу Алекс. Бестужеву, артиллерии поручику. В канцелярии начальника артиллерии. Он или доставит их мне или сохранит до моего приезда.

Здоровье мое плохо.

Насчет Ахалцыха скажу одно: я буду там прилежнее, и конечно Телеграф мне скажет за то спасибо. Кстати (или бишь не кстати) о моей статье: попытайте перевести на французский язык мнение о романтизме без исключений и без имени, и пошлите в журнал французский, в Петербурге издаваемый. В близости государя цензура гораздо умнее, и не вычеркнет, я думаю, евангельских истин.

Смирдин платит мне 5 тысяч в год за 12 листов. Таиса Максимовна очень благодарит супругу вашу за вкус ее убора, а я зато, что вы меня, своего должника, так скоро и мило удовлетворяете. Чувствую это. Братца Николая обнимаю. Ваш

Александр.

21 февр. 1834.

(Вот окончание еще одного потерянного письма. Оно, несомненно, относится к началу 1834 года, потому что на одной странице сохранившегося листка его означены поправки к разбору Клятвы при Гробе Господнем, а на другой странице следующее:

Приписка к No 2.

...внимательны, чтоб я как-нибудь не высвободил руки из пеленок. Назло однако ж им, я пью редко рюмку водки перед обедом и едва ли стакан вина в день, а про поведение мое могут узнать они из кондуитов, в которых самая враждебная мне рука не могла, со всем желанием и возможностью вредить, набрызнуть ни одного пятнушка. Досадно, право, что я, в слове которого еще не сомневался никто, кто лично знает меня, должен оправдываться!.. Но я далек, но я изгнанник, а люди так охотно верят злему! Кого здесь нет, тот вечно виноват, а кто здесь, тот еще виноватее. Но смешны мне люди.

Обнимите за меня брата Николая.

Valet. Ваш Александр.

(При посылке статьи брата его Павла Александровича, которая уже не могла быть напечатана в М. Телеграфе, прекращенном в начале апреля 1834 г.)

К. А.

XXXVII.

Посылаю статью моего брата Павла; это первая попытка человека, который никогда еще не писал, но думал иногда очень порядочно. Напечатайте, если найдете достойным. Это даже нужно, ибо возражение справедливо. Я кое-что поправил -- доправьте. Не имею ни мига писать к вам особо. Выезжаю через пять дней. Пишите в Ахалцах, и постарайтесь переменить адрес газет и журналов туда же. Обнимаю вас обоих.

Ваш Александр.

22 марта 1834. Дерб.

XXXVIII.

3 мая 1834, Тифлис.

Предпоследнее письмо ваше получил на дороге, и оно очень меня порадовало, -- точно я друга встретил в пустыне; но последнее, с вестью о кончине Телеграфа, весьма огорчило меня, еще более как Русского, нежели как вашего друга, почтенный Ксенофонт Алексеевич! Впрочем, хотя этот удар будет вреден кошельку вашему, едва ли не будет он полезен расстроенному здоровью Николая Алексеевича. Я всегда предпочитаю саблю -- пиле. Мелкие неудовольствия труднее переносить, чем сильное огорчение. Конечно -- и с Богом принимайтесь за ваши мирные занятия, и старайтесь торговлю заправить изъяз от литературной войны. Не стану подбирать в несносные утешения измочаленных пословиц или старопечатных фраз; утешение ваше в собственном сознании.

Я выехал из Дербента 3 апреля, при расцветающей природе; но из Кубы, поворотив в горы, опять въехал в зиму, кой-где с начатками весны. Дорога была трудна, но так прелестна, что я помню ее буду как самую сладостную прогулку об руку с природою. Этого ни в сказке сказать, ни пером написать. Да и как написать, в самом деле, чувство? ибо тогда я весь был чувство, ум и душа, душа и тело. Эти горы в девственном покрывале зимы, эти реки, вздутые тающими снегами, эти бури весны, эти дожди, рассыпающиеся зеленью и цветами, и свежесть гор, и дыхание лугов, и небосклон, обрамленный радугою хребтов и облаков... О, какая кисть подобна персту Божию? Там, только там можно забыть, что в нас подле сердца есть желчь, что около нас горе. Над головой кружились орлы и коршуны, но в голове ни одна хищная мысль не смела шевельнуть крылом: вся жизнь прошлая и будущая сливалась в какую-то сладкую дрему; мир совершался в груди моей без отношений к человеку, без отношений к самому себе; я не шарил в небе, как метафизик, не рылся в земле, как рудокоп, я был рад, что далек от людей, от их истории, спящей во прахе, от их страстишек, достойных праха... Я жил, не чувствуя жизни. Говор ручьев и листьев наводил на меня мечты без мыслей, усталость дарила сон без грез. Но кратки промежутки жизненной лихорадки! Сердце мое сжалось, приближаясь к Тифлису, и оно не обмануло меня. Я нашел брата Павла в постеле долгой болезни, худого, измученного. Он получил отставку и едет на воды; дай Бог, чтоб они стали для него живою водой, чтоб он на дне их нашел утраченную молодость и здоровье! Отправив его, пушусь сам в Ахалцах, -- и что меня ждет там? Добро ли, худо ли? Да будет: судьба моя в воле Бога и царя. Вы сомневались, как я приму ваше мнение насчет цены, назначенной Смирдиным, или лучше сказать Смирдину? Как вам не грех! Не есть ли друг наша совесть, не есть ли совесть лучший друг? Пускай каждое письмо ваше будет монологом правды, и будьте уверены, что он будет выслушан, как будто бы я сам говорил самому себе. Жизнь слишком коротка, чтоб ее тратить на комплименты даже с незнакомыми, а в дружбе пропуск искренности есть нарушение ее *sine qua non*.

Тифлисский воздух душен не только физически: у меня, здесь живучи, жернов на мозгу и на сердце. С виду прелестный город, шумен, разнообразен, разноороден, но торговля в Азии значит обман, а Тифлис населен торговцами.

Писавши ко мне, ограничьтесь пожалуйста одною словесностью: в нашем положении иногда отвечать приходится не только за то, что сам пишешь, но что и к нам пишут, и хотя ни я, ни вы, ни словом, ни делом, ни помышлением не оскорбляли общественной нравственности, но самую невинную шутку могут перетолковать злые умы в худую сторону. Благодаря Бога, этого еще не случилось со мной ни разу и вероятно не случится никогда; однако ж лучше толковать о Мазепе Булгарина и Тассе Кукольника, чем о цензуре. Я ничего не мог писать в это время: в Кавказских горах, после дня пути, думаешь только как бы просушиться да заснуть, а не растирать тушь и чинить перья.

Прощайте до следующей почты, право, нет времени! Надавали мне поручений на покупки, -- надо исполнить.

Вам кланяется Вышеславцев; он только что заходил; я в первый раз видел его сегодня.

Брата Николая Алексеевича обнимите за меня и долго и крепко, чтоб он за три тысячи верст почувствовал биение дружного сердца.

Счастья! -- Ваш Александр Бестужев.

С сего времени пишите в Ахалцых, в 1-й Груз. лин. батальон.

Рекомендую вам вручителя сей записки, юнкера Нарышкина, как моего приятеля. Он лично расскажет вам все, что вы пожелаете знать обо мне, мой добрый Ксенофонт Алексеевич.

Ваш душою Александр Бестужев.

1834. 12 мая.

Г. Тифлис.

XXXIX.

Не помню хорошенько какого вздору написал я к вам, любезный друг Ксенофонт Алексеевич, из Тифлиса. И не мудрено. Весть о падении Телеграфа перетасовала все моя понятия. Но что сказано, -- сказано, что сделано, -- сделано; предадим минувшее минувшему, сам себя не вытащишь из болота даже за волосы.

22-го мая покинул я за собой Тифлис, пустой для меня, ибо я проводил, за три дня, брата на воды. Это будет чудный город со временем, это один след победной стопы Европы в Азии, только один! Другие города Закавказья нисколько не глядят Русью; да и в Тифлисе одни стены европейские, все прочее неотмываемая Азия. Со всем тем, я люблю тифлисские вечера и ночи: это ни с чем несравнимо! И как пленительно! По кровлям как тени пляшут Армянки черноокие под звуки бубнов; везде веют белые чадры и розовые кушаки, везде говор и песни, и порой несется удалая толпа всадников по улицам, обрызгивая искрами облака летящей вслед их пыли. В синеве плавает златорогий месяц и осыпает жемчугом вершины окрестных гор, наводит чернеть на башни, над ними возникающие, а между тем Кура плещет, крутится и буйно катит мутные волны свои мимо скал берегов под смелую арку моста. Да, я по целым часам стаивал на этом мосту, любясь как утекает вода, прислушиваясь как засыпает шумный город, убаюканный песнью реки, под ароматическим дыханием, наносимым из садов, или слианным с быстринию! О, прелестен Восток, прелестен май Востока! Дики, но увлекательны беседы Азиатцев в садах их; зато всяк ли может оценить это? Едва ли двое из тысячи. Не сбросив с себя европейства у ворот карантина, не закружив мысли обаянием природы, не понимая языка песен, вы будете мертвец среди кипения жизни. Я не был им. Плавкая природа моя на время переливается во все формы, принимает цвет окружающих ее предметов; забывает мысль и думу на груди природы, как забывает иногда тело и мир на газовых крыльях думы. Люди, впрочем, гадки в Тифлисе, более чем где-либо в Азии: там все торгует собою и другими.

Наконец брат уехал, и я за ним снялся и полетел как гусь против течения реки; проехал сквозь Гори и въехал в ущелье Борджомское, которое должен был огибать по гребню, висящему над бушующею Курой, которая залила, размыла, сорвала нижнюю дорогу и опрокинула мосты. Если бы для меня было еще что-нибудь ужасное на свете, я бы сказал, что эта дорога почти страшна; но зато как она прелестна! что за дикие, грозные виды, что за разнообразие видов! Вероятно, вы будете читать ущелье Борджомское в двух копиях, ибо я встретился там с писателем Гори, который обещает быть недурным писателем. Главное, что меня занимало так -- это геология. Борджом есть редкий урок ее, и я приехал в Ахалцых с полными карманами обломков базальтов и наплывных пудингов.

Климат здесь русский; окрестности наги, но горы красят все. Крепость -- куча развалин. Скука, я думаю, не съест меня здесь, я буду отражать ее пером; но самому почти нечего есть: мясо крепче башень, и готовить его не умеют вовсе. Есть добрые люди между кучами сплетников; но начальники мои благородные люди, и с этой стороны я покоен. Что дальше даст Бог -- аськаю; окрестность задернута туманом.

Вы просили не урезать письмами; но в пути мог ли я исполнить это? Подумайте и не вините меня. Самому отрадно отвести душу словом искренности, да не всегда-то можно, чего хочется.

Обнимите крепко брата Николая. Теперь занят устройством своей норки, -- ни кола, ни стола, а в Азии это не безделица; кончив, напишу и к нему послание. Будьте счастливы дома, если нет счастья в свете.

Ваш душой Александр Бестужев.

1834, Мая 31 дня.

Ахалцых.

Я служу в 1-м Груз. лин. батальоне.

XL.

Достойный и любезный друг, Ксенофонт Алексеевич! Да, нам должно давать друг другу знаки жизни письмами, потому что печатная струя Телеграфа иссякла. Впрочем, как вы извещаете и как я надеялся, деятельность ваша возьмет только другую стезю на пользу отечества, но не оскудеет вовсе. Я -- другое дело; я так далек от всех возможностей чем-либо стать полезным, от всех подстреканий далее стать известным, что сесть за перо для меня теперь -- барщина. Если бы теперь еще велась Жуковская мода, я бы мог сказать про себя:

Душой увял, умом погас...

но только сказать, а не доказать. Изредка шевелится что-то в душе моей, и порой если не стреляет, то срывает с полки в уме; дремлю я, но еще живу, живу с природою, которая здесь не прелестна, зато своенравна, своелична, дика. Я только что возвратился с Аббас-Туманских горячих вод, где провел восемь дней, карабкаясь на базальты, бродя по сосновым дебрям, купаясь в серных ключах. Трудно, невозможно себе вообразить, не видя здешних гор, что это за картина, она ничего не имеет схожего с пластовыми горами; это пирамиды елевидные, это стены, взброшенные в воздух, это кристаллы, перетасованные как колода карт, это застывшие волны камня, изорванные, измученные, стопленные в жерле, вздутые вулканом. Здесь уже нет иных пород кроме огневиков, здесь вся окрестность литая, а не осадочная. Какое богатое поле для геологии! Мои карманы разговаривают между собой бряканьем камней, уверяют, что могут свести с ума С.-Петербургское Минералогическое Общество -- недалеко дорога, правда!.. А все-таки я мог бы закинуть в мозг ученых камешка два-три, и, право, не раскусят они их; наши геологи умеют только раскладывать, а не разлагать ископаемые.

Завтра, для того чтоб закалить свое тело, иду на кислые воды, сказывают, очень полезные, оживляющие. Давай Бог, чтоб они оживили мой дух, как и его оболочку. Заботы купанья, и потом отдых или заветная прогулка, не дают досуга заняться письмом; зато я без устали читаю Байрона и кой-какие французские книги новой школы. Не знаю, читали ли вы Les Intimes... Это все случается в свете; но не постигаю, что за мысль выставить женщину, которая просто мерзка! Это убивает интерес в желтке, да притом Mr. Granger прост непозволительным образом.

Сенковский зазнался не путем. Телескоп не с того конца почал его: ему должно было доказать, что русская словесность и не думает вертеться от того, что он дует в нее в два свистка; ему надобно было, доказать его ничтожность и наглое самохвальство. Ему предрекают, что он испишется -- я говорю, что он уже исписался, ибо ворованного станет ненадолго... У него есть смелость, есть манера, недостает безделки -- души, и другой безделки -- философии. Его определение романтизма -- жалость и шалость вместе. Общиплите его (я могу на свой пай показать, откуда он взял 3/4 своих шуток и выражений), и вы найдете, что оригинального у него только бесстыдство да нелепость.

Статью брата пошлите куда угодно. Только там, где сказано о кресте Андреевой горы, прибавьте: "А теперешний мраморный крест водружен г-м Кохановым, бывшим приставом горских народов, не упомяну в котором году."

Нынешнюю осень, по всей вероятности, проведу я в бою, и если выйду жив и цел, то вы можете предречь мне долгие лета. Обнимите за меня брата Николая и пожелайте литературных успехов. Благословите моим словом вашего нового пришельца в мир; я всегда завидую новому поколению: оно увидит гораздо более хорошего, чем нам удалось видеть. Будьте счастливы.

Душой ваш Александр Бестужев.

1834, 27 1юля.

Ахалцых.

XLI.

1834. 2 августа. Ахалцых.

Когда вы перестанете церемониться со мной, добрый мой друг Ксенофонт Алексеевич? Неужели вы думаете, что я ценю Морехода Никитина во что-нибудь? Сохрани Господь! Мне надобно было что-нибудь написать для Библиотеки для Чтения, и я написал во вкусе этой Библиотеки. Верите ли, рука не подымается писать для такого товарищества; но что делать? я запряжен в свое слово, и мямлю, мямлю, прости Господи, без складу по складам. Впрочем, послал им недавно четыре кавказских очерка, которыми вы (если их не исковеркают в столице) будете довольнее, потому что в них просвечивает душа.

Когда положите деньги в ломбард, сколько Бог даст выручить, то возьмите билет на имя неизвестного и отдайте его брату Павлу, который осенью с горячих вод у вас будет. Он вам даст доверие получать проценты и пересылать ему. Или сделайте как лучше: я вам даю полномочие насчет пера и кошелька. Верно, я сам лучше бы не сумел для себя работать, как вы вчуже для меня хлопочете. Простите выражение: вчуже, -- оно-то чужое сердцу и уму моим.

Пошлите экземпляр Гречу, Фаддею, Ястребцеву, Вельтману; три экземпляра сестрам, и в России никому более. Кто меня забыл, тех и я не обязан помнить. В Тифлис: барону Григорию Владимировичу Розену; генералу Владимиру Дмитриевичу Вальховскому (первому в красном сафьянном переплете, для уровня с первыми (Томами, посланными из Петербурга. К. П.)); ко мне один или много два; Шнитникову один, и только. Для доброго моего командира, прямо на его имя (майору Василию Григорьевичу Зеничу, ахалцыхскому коменданту), поскорее пришлите Басни Крылова и Сочинения Державина (последних изданий). Это тип русского боевого штаб-офицера, с прекрасным сердцем и со всеми привычками палатки. Служил век, изуродован, и ни копейки за душой. Можете представить, что мы не ссоримся. При посылке Зеничу книг, вложите туда же Турецкую Грамматику, Сенковского. Посмотрим, что это такое? Денег мне до ноября не посылайте. Оставьте около 1000 расходных, не более; все прочее впрок. Брату Павлу нужно будет рублей 300 при проезде, но если понадобится более, то более. Для кого же я и собираю как не для братьев? Ставьте на мой счет все, что посылаете ко мне и к Ш-м. Я наперед одобряю все ваши распоряжения, и благодарил бы, если б между нами нужны были не чувства, а слова.

Я ждал разрешения на бой, который будет кровав и на каждом шагу, в Абхазии, -- еще нет ответа, но вероятно будет вожделенного содержания.

Желаю полного успеха в разгадке борьбы Наполеона с Русью, она именно стала границей между личностью и общественностью. "Со мной кончился ряд людей, которые могли занимать всю сцену", где-то сказал сам N. -- "Теперь будут владычествовать массы." Я не люблю Наполеона. Он слишком думал о роли своей и слишком мало о долге. Сын прошлого века, он не мог понять нового, и упал в жалкую толпу подражателей; но в Россию влекла его необходимость, а не ослепление. Условие быть для него было завоевывать, он мог плавать только по крови, и не утонул, а погряз в ней. Впрочем, пускай кто хочет верит ему, будто из жалости он не надел красную шапку -- молодцу хотелось непременно остаться деспотом. Когда-нибудь поговорю об этом пообширнее; теперь спешу. У меня есть кой-какие заметки об этой ужасной и утешительной драме -- о войне за правоту. Брата Николая обнимаю дружески, и надеюсь, что, пережив свой нравственный климатерический год, он выйдет как фарфор из обжига -- звонок и крепок и красив. Поцелуйте за меня ручку у вашей супруги, а своих малюток по три раза, в чело. Дай Бог вам всем здоровья, а счастье найдете в себе. Я здоров и силен, без увеличений, как атлет, да и надо, правду сказать, иметь медвежьи ребра, чтоб идти с голыми кулаками на судьбу. Изучаю геологию окрестностей, и что-нибудь напишу о том. Valet!

Ваш Александр Бестужев.

Для верности прилагаю 5 р. асс. Пришлите мне на них сургучу и почтовой бумаги.

XLII.

Не имею ни времени, ни надобности, любезный друг Ксенофонт Алексеевич, писать к вам более трех строк -- вы видите перед собой моего двойника; он передаст вам и мои объятия, и обо мне вести. Если, как я надеюсь, вы при деньгах, дайте ему сколько будет нужно. Что очистили, положите в ломбард, и билеты вручите Павлу, так чтоб он мог получать с них проценты. Мне, в декабре, пришлите 1.000 рублей, а все остальное впрок. Обнимите Николая Алексеевича и будьте счастливы. Я здоров и еду драться.

Ваш Александр.

Ставрополь, 26 августа 1834 г.

По сю сторону Кавказа.

XLIII.

Лагерь на реке Абени, в земле Шапсугов,

2 октября, 1834 года.

Пишу к вам усталый от двухдневной фуражировки, то есть боя, потому что нам каждый клочок сена и сучок дерева, даже пригоршня мутной воды стоит многих трудов и нередко многих людей. Да, любезный друг Ксенофонт Алексеевич, я живу теперь поэзией действительности, и, без преувеличений, дышу дымом пороха и пожаров. Почти каждый день, а часто и ночь, сажусь я на коня и джигитую без устали, на пистолетный выстрел перед неприятелями. Идут ли стрелки занимать лес, аул, реку, я кидаюсь впереди; скачут ли казаки за всадниками, я несусь туда. Мне любо, мне весело, когда пули свищут мимо. Забава мне стреляться с закубанскими наездниками, а Закубанцы, черт меня возьми, такие удальцы, что я готов бы расцеловать много! Вообразите, что они стоят под картечью и кидаются в шашки на пешую цепь, -- прелесть что за народ! Надо самому презирать опасность во всех видах, чтоб оценить это мужество в дикаре. Они достойные враги, и я долгом считаю не уступать им ни в чем. У меня даже в числе их есть знакомцы, которые не стреляют ни в кого кроме меня, выехав поодаль; это род поединка без условий. Быстрота их движений и их коней невообразима. Дней десять назад, в цепи, в лесу, рядом со мной убиты майор Иванов и капитан Филонов, прекрасные люди; сегодня в наездниках, подле меня на шаг, ранен флигель-адъютант Безобразов, один из четырех джигитов отряда, из коих три другие князь Долгорукий, капитан Языков и ваш покорнейший, по крайней мере всегда вместе и о-бок друг друга рыскающие повсюду, где только свистнет пуля. Верьте, любезнейший К. А., что в опасности пропасть наслаждения, и если Бог даст живу вернуться из ущелья, ведущего в Гиленджик, я опишу вам чувство это, ибо я дерусь совершенно без цели, без долга даже, бескорыстно и непринужденно. Г. Вельяминов отличный генерал и отличный человек; надеемся, что пройдем до Черного моря и вернемся к ноябрю к крепости, здесь строящейся. Но это чувствительное путешествие дорого будет стоить нам, ибо горцы приготовились, поделали завалы, перекопали дорогу и истребили кругом весь фураж, да и собрались тысячами встретить нас по-молодецки в лесах и оврагах; тут-то будет разгул душе и шашке! Напишите, можете ли вы к весне доставить мне оружие, какое я назначу, ибо здесь десять раз в день моя жизнь может зависеть от меткого и исправного оружия.

Письма адресуйте в Ставрополь, г. старшему адъютанту Петру Аполлоновичу Коханову, для доставления А. А. Б. в отряд.

Ну, прощайте однако ж, я не спал две ночи и не пил воды два дня, ибо мы ночевали у пересохшего болота. Это последний раз, что я пишу до возврата, ибо за нами останется море врагов. Если Бог не судит пожить до нового года, не поминайте лихом, да вам и не за что, правда: я много любил вас. Обнимите брата Николая. Каков вам показался мой Павел, по сердцу ли? Счастия возможного на земле!

Ваш душою А. Бестужев.

XLIV.

Ставрополь, 20 ноября 1834 года.

Почтенный друг Ксенофонт Алексеевич. Это был дождь писем, известий, новостей, когда я пришел на Кубань после экспедиции к Черному морю! После писем от родных, я первыми вскрыл ваши: они уже были очень старых чисел, потому что кружили Бог весть где, но все-таки свежи для сердца. Очень рад, что мой Польша сошелся с вами. Бедный Польша! Он не был молод, он не имел ни одной радости, ни одной слабости юношества; опыт слишком рано сожег или заморозил цвет его души. Желчь играла в нем прежде крови... Не правда ли, что это ужасно? Не знаю, что будет с ним, разочарованным без очарования, в свете? Худо, если запоздалый час любви найдет на него худо, если он не найдет его никогда. Тяжело любить без веры, тяжело жить без любви, а он на перекрестке теперь двух этих неизбежностей.

Ну-с, мы кончили свой истинно-замечательный и трудный поход сквозь неприступные ущелья, через хребты, до Черного моря, залив их своею и вражескою кровью. Я перестал верить, чтобы свинец мог коснуться меня,

и свист пуль для меня стал то же что свист ветра, даже менее, потому что от ветра я иногда отворачиваю лицо, а пули не производят никакого впечатления, и знаете ли? этого жаль мне. Сначала, по крайней мере, мне было приятно, что они пролетали мимо; потом мне была приятна их дикая песня, теперь мне все равно, есть она или нет... Так мало-помалу теряем мы все наслаждения привычкою, так прискучивают наконец и опасности битвы, когда они перестают зажигать кровь. Впрочем, я не совсем еще заснул, и клик схватки манит меня, как голос любимой женщины, он бросает меня в огонь и в бешенство самозабвения. После восторга любви я не знаю высшего восторга для телесного человека как победа, потому что к чувству силы примешано тут чувство славы.

Нежданно встретил я Николая Ивановича в Ставрополе, многое узнал о вас обоих. Скажите откровенно, каковы денежные обстоятельства Н. А-ча? Говорят, запрещение журнала и даже участия в журналах очень его расстроили. Если это правда, больно душе. Научите, чем могу я помочь ему. Это не комплименты.

Глазная боль принудила меня приехать полечиться сюда на время. Жаль, что не мог пробежать присланных вами книг. (У повестей Бальзака нет 1-й части.) Вы однако ж адресуйте по-прежнему к П. А. Коханову. Шнитниковы пишут, что вещи ими получены, и благодарят вас. Для меня покуда ничего не нужно. За все распоряжения по изданию, пожатие руки. Билеты отошлите к матушке моей. Смирдину продал я остальные 3 тома за 10 тысяч, но с условием, чтобы не продавать их, покуда вы не известите его об окончании продажи ваших. Не читал еще их, скитаются по Закавказью. Ожидаю счета и вещей, купленных и проданных экземпляров, чтобы мог видеть, какова будет надежда на выручку. В этот год я истратил кучу денег и для брата, и для переездов, и для похода -- и не жалею их. Я столько купил новых ощущений и сведений!

В политическом отношении начальники довольны мною, а я начальниками. Я всегда служил так, что не имел нужды в снисхождении для изобретения похвал своей храбрости, но здесь я имел более случаев оказать ее. Остальное в руке Бога, ибо сердце царей в руке Его. Вы прочтете сначала в Северной Пчеле краткое известие о походе в Гиленджик, а потом я напечатаю денник свой где-нибудь. Братцу Николаю Алексеевичу кланяется старый его знакомый, полковник Чайковский, комендант Гиленджика, у которого я нашел гостеприимство. Он теперь назначен в Пятигорск; это немалая радость и ему и жене его, достойной и милой женщине. Прошу поцеловать за меня ручку у вашей супруги и щечки у ваших детей. Будьте счастливы.

Ваш душой Александр Бестужев.

XLV.

3 января 1835 года, Ставрополь.

Дорогой мой Ксенофонт Алексеевич начинаю с того, что вручитель этих строк мой добрый приятель Николай Викторович Шимановский, человек, который не только желает, но и делает мне много добра. Он расскажет вам о моем заездном быту в Ставрополе, о моих отношениях к начальству, об участии последних моих описаний похода к Черному морю. Он не политик, но истинно благородный человек: это к сведению.

Благодарю вас за присылку портрета (Речь о портрете самого Бестужева. Он прислал ко мне еще из Дербента свой акварельный портрет, с просьбой оставить у себя оригинал, сняв с него несколько копий, из которых одну просил он прислать ему, а остальные назначил сестре и братьям своим. Зная хорошего портретиста в Петербурге, я отправил оригинал туда, и когда копии были готовы, разослал их по назначению. Эти копии были лучше оригинального портрета, который хранится у меня, и про который сам Бестужев писал мне, что он писан не мастером, хотя и добрым приятелем его. Жаль, что не сохранилось письмо, полученное мною с портретом. Бестужев писал между прочим, что портрет вообще сходен, но что в нем не схвачено выражение глаз, и он не может прислать такого предмета, которого почта не принимает для пересылки. По получении копии, как видим, он уже не находил и сходства в своем портрете. Находящийся у меня оригинал этого портрета был скопирован для издания Сто литераторов, но очень неудачно. К. П.), но его так охаяли все знатоки и насчет несходства и насчет живописи, что я вынул его из рамок; советую сделать то же с подаренным мною оригиналом. У Н. В-ча увидите вы миниатюрный портрет мой -- он в десять раз сходнее, но все еще не схвачено моей обычной, доброй мины, даже несколько насмешливой. Портрет этот останется у вас до прибытия в Москву брата Павла. Прошу поставить в счет рамки для копии и за копировку их (NB портретов), ибо таких фантазий может у меня быть много, а я и то не знаю, как и чем заслужил я братское ваше расположение и тысячи одолжений.

Если будете при деньгах, прошу вручить Шим-му 300 рублей, я просил его купить для меня разных вещей.

Здоровье мое хорошо... на взгляд я еще молодец, в борьбе силен; но в воображении -- листопад, в душе -- зима. По крайней мере так кажется мне, покуда что-нибудь не расшевелит меня. Десять лет уж почти я под пилой судьбы; а это не шутка, друг Ксенофонт Алексеевич! Впрочем, самое худое-то, что она облепила меня какою-то апатией и ленью. Впрочем, она не сгладила углов моего нрава; зерно грани то же, что и прежде.

Повести брата Н. А. читал или перечитал со страстью. Как он умеет вытребовать из моих глаз слезы! не могу постичь. Обнимите его за меня!

Счастия на новый год!

Душою ваш Александр Бестужев.

XLVI.

Il faut que je vous conte, mon cher Xenophon, comme quoi, il m'est arrive, deux ou trois jours d'ici, un accident bien singulier. Je venais d'ecrire un article, dand lequel je tachais de developper l'idee, que le talent d'un poete est son existence, qu'en le divulguant il use sa propre vie; qu'il eparpille son coeur au vent se livrant a la penible tache de transmettre aux autres ce qu'il sent lui meme... enfin la chose trottait de plus bel, quand le sommeil m'a surpris en baillement flagrant. L'ouvrage fut interrompu a demi-mot. Cette idee manquee de devenir mon arret de mort.

Je me couche a 11 heures sans ressentir autre chose qu'unedou-leur sourde et vague a la tete et qui n'avait d'ailleurs rien d'alarmant. Je m'endors paisible, tout en ruminant mon sujet. Tout d'un coup je me reveille en sursaut, comme si j'etais frappe de la foudre; je sens ma tete tourbillonner, mon coeur battre a se rompre, le sang sourdre au travers de mon cerveau en jets de flamme, et siffler et bour-donner aux oreilles. Ma terreur s'echappe en cris de detresse -- j'etouffe -- je cours a la galerie me rafraichir -- en vain! le coeur bondissait avec une rapidite incroyable, comwe une roue echappee du ressort; la lete menacait de se rompre en eclats, et le crue de la chose c'etait que mes idees etaient toute-lucides, que je me sentais mourir sans secours et sans consolation -- que je voyais la mort s'approcher a tire-d'ailes, gringant les dents et ecariant ses serres de vautour pour me saisir. -- C'est alors que j'ai gagne la conviction intime, que la crainte n'est autre chose que l'en-gorgement de l'aorte, sentiment purement physique dont je pourrais suivre le progres au fur et a mesure d'apres le flux du sang vers les parties nobles. Il faut avouer pourtant que ce sentiment est terrifiant et donne des trances indicibles, d'autant plus que la raison et la bonne volonte n'y servent de rien, domptees, ecrasees par la matiere palpitante. Sur ces entrefaites arrive, a la fin de fins, Kohonoff, qui loge tout-aupres. L'acces rabat un peu de sa violence -- je respine. Pas possible d'envoyer chercher le docteur par la nuit et le temps affreux; je me resigne. Mais dans la nuit j'avais encore essaye 4 coups semblables au premier, mains avec mains d'inten-site.

Le matin on m'a saigne a blanc. Mais les maux de tete continuent, et je crois qu'il faudrait recourir aux sangsues. Pour sur-croit du bonheur, la repletion me cause un mal des dents cui-sant et opiniatre. Voila comme on passe, ou degringole plus-tot, de l'etat de la sante le mieux senti a l'etat de deperissement le plus menacant. Oui, mon cher ami, pourquoi se cacher la ve-rite? la voie du sang une fois elargie laisse un passage libre a cet element (tout de flamme chez moi) a tout jamais -- et qui est ce qui me repondra de l'avenir, qui me dira, ou bien, qui me per-suadera que mon coeur et mon cerveau resisteront longtemps aux chocs reiteres?.. Oh, que non, par Dieu! Tout cela etait prepare de longue main. Les passions allaient a la sape, les persecutions et les coups du sort travaillaient d'accord -- et voila la mort en personne qui s'avise de me battre en breche. Soit! Mais si je peris a l'improviste et dans peu -- je ressens un profond regret d'avoir si peu fait pour le monde -- au moins le seul regret qui est valable. D'ailleurs, il n'y a de mal sans profit: j'ai frise l'heure de la mort pour mieux apprendre a evaluer celle de la vie, et de ne pas compter le temps aussi paresseux que moi-meme.

Un mot d'apologue sur ma question des affaires pecuniaires de votre frere. C'etait veritablement N. J. R-ff qui m'en a parle -- et je me suis empressé d'aller au devant, car je sais tres-bien qu'une dizaine de milles roubles, interjeele a propos, pourrait servir parfois a faire faire surnager une modique fortune. Il ne s'agissait que d'un jeu de commerce. Nicolas m'aurait pris aujourd'hui telle somme et l'aurait paye un mois apres. Qu'est ce qu'il ya d'etrange, dites un peu? -- Je suis veritablement charme, que cette nouvelle etait de-nuee de fondement -- mais riche ou pauvre, soyez sur, que vous me trouverez toujours digne de votre amitie. Voila lout -- et qu'il n'en soit plus mention!

Le compte-rendu par vous envoye, quant a l'edition, m'demontre votre obligeante amitie dans toute sa splendeur. Je ne m'attendais guere a gagner tant d'argent -- et, grace a vous, j'en ai tant et plus. Veuillez bien, ces fonds realises,

de placer 16.500 r. dans la caisse de Сохранной казны на имя неизвестного. Et pour couper court a toute balance -- de s'indemniser de restant, net. Так чтобы с нового года я не считался вам должен ни копейки.

(Тут начат какой-то расчет, но потом все перечеркнуто, так что нельзя разобрать.) Но так как вы пишете и из счета (С боку написано: L'excédant de 16.500 servira comme somme flottante a couvrir les depences a venir.) видно, что до сих уже пор по вексялям чистой прибыли (кроме экземпляров) 17.799 р. 84 к. Mais mes yeux se froublent -- rau diable les comptes! ca me noircit le coeur. Je vous prie seulement, pour regler nos comptes a venir, de placer a leur tete les transports, escompte faite, et ne me bombarder da-vantage des debets et credits -- jen'y entends rien et j'ai trop de confiance en vous. C'est dit.

J'avais l'intention de vous parler sur beaucoup de choses, mais la tete me tourne et la plume echappe de la main... Ne vous eton-ner pas de ce barbouillage en francais -- mes maladies s'ex-halent toujours en langues etrangeres, et puis ca sert pour derouiller tant soit peu mon francais, que je parle tres rarement. Vous m'en-verrez les 1000 r. promis incontinent. Des petites emplettes sont ci-jointes. Mille voeux pour votre bonheur -- et que bien vous en fasse, cher Xenophon! Je crois fort et ferme en justice divine meme ici-bas.

A tan tot,

tout devoue Alexandre Bestougeff.

15 de Janvier 1835.

Stawropol.

XLVII.

12 марта 1835. Ставрополь.

Вот и из-за кубанского похода с Зассом возвратился я цел и здоров, дорогой мой Ксенофонт Алексеевич. Получил в этот промежуток два письма от вас. Не знаю, право, какими чернилами писать мою всецветную к вам признательность за все нравственные и вещественные обо мне попечения. Сюртук получил -- немножко широк в талии; но как мода требует распашки, так это беда не великая. Сапоги расколотил, и чудо пришлось. За все, про все, челобитье! О деньгах не беспокойтесь, ибо я имею кредит и не дожид еще до последней сотни. Я и без того разумел присылку их при уплате от книжников и фарисеев. Непременным условием требую, чтобы вы из первой полочки сквитались со мной, причтя к долгу и процент; вы платили их тратясь, за что же я не буду их уплачивать? Я же сам знаю, что за бумагу необходимо нужно было дать немало задатка. Теперь скажу о себе: в походе, в усталости, в трудах -- здоров я; но чуть залежусь в берлоге -- опять ночные трепетания сердца. Впрочем, как вы замечаете, это острая болезнь, но едва ли даст она мне большие промежутки. Кровь в здоровом теле необходимо должна вырабатываться и количество ее расти, а с ним расти и вероятности новых припадков. Прибегнуть же к частым кровопусканиям не хочу я, во-первых, чтобы не дать крови привычки шалить периодически, а во-вторых, всем известно, что частые кровопускания, возбуждая производительность крови, причиняют полнокровие на счет прочего организма, и это обыкновенно кончается или непомерною толстотой, или, напротив, чахлостью. Лучшее лечение диета, и я с нового года не пью ни капли водки, и редко рюмку вина в целый день. Избегаю мяса, ищу кислого; я слишком в последнее время оводотворился: меня надо окислить. Во всем этом убеждает меня не академическая, а рациональная медицина.

Два набега за Кубань, в горные ущелья Кавказа, были очень для меня занимательны. Воровской образ этой войны, доселе мне худо знакомой -- ночные, невероятно быстрые переходы в своей и вражеской земле; дневки в балках без говора, без дыма днем, без искры ночью -- особые ухватки, чтобы скрыть поход свой, и наконец -- вторжение ночью в непроходимые доселе расселины, чтоб угнать стада или взять аулы -- все это было так ново, так дико, так живо, что я очень рад случаю еще с Зассом отведать боя. Дрались мы два раза и горячо; угнали тысяч десять баранов из неприступных мест, взяли аул в сердце гор. За то, что вытерпели холоду, голоду, бессонницы! Я дивился неутомимости казаков и трезвости коней: мы ходили две недели, не имея корму кроме подснежной отавы.

Забавны очень показались ваши восторженные мнения о Зассе. Он храбрый, дельный, умный человек; он усмирил Закубанье и силой и хитростью, не щадя ни своей, ни вражеской крови, несмотря на средства -- то картечью, то тайною пульей -- и лучше его на место, им занимаемое, не только найти -- выдумать нельзя, но

он честолюбив до мелочности, бредит эполетами и крестами, хоть этого и не выказывается, и в речах себя не забудет. Со всем тем, он самое занимательное, оригинальное лицо, начиная с его усастой физиономии, до разбитой пулями походки и чудной манеры выражаться. С привыч... (Окончательный листок этого письма утратился.)

XLVIII.

Любезнейший Ксенофонт Алексеевич. Здоровье мое все еще плохо; раны не закрыты, солитер не выгнан; но чтоб избавиться пятигорской скуки, прерываю едва начатое лечение ваннами и спешу на кислые, чтобы там хоть сколько-нибудь закалить себя для бивуак от наваждения цитманова декокта. Из Нарзана прямо за Кубань; не дай Бог и недругу такого курса.

Тысячу получил от вас давно, да не было духу приняться за перо. Порадуйтесь со мной монаршей милости: я произведен в унтер-офицеры!

Если удастся до 1-го сентября пробраться за Кубань, то не беспокойтесь, что три месяца не будете иметь от меня вестей: не будет сообщения с Русью. Обнимите Николая Алексеевича и будьте здоровы сами. Абрантес и 6-й том Истории Русского Народа получены. Жаль, что последняя, кажется, не полна. Еще раз vale!

Сердцем ваш Александр Бестужев.

Пять гор.

19 августа 1835.

P. S. Приищите мне для зимы енотовый не дорогой, но добрый однако ж мех. У нас вьюги не хуже ваших, а воды расположили меня сильно к простуде. Крышка оливкового цвета без откладного воротника, на купеческий лад. О доставке уведомя.

XLIX.

Закубанье, 1 сент. 1835.

Еще раз до прервания сношений с Русью спешу написать вам несколько строк, любезный друг Ксенофонт Алексеевич. Я думаю, что письмо, в котором я извещал вас о получении 1000 р., давно достигло своего адреса, но не лишним считаю однако ж повторить это. Здоровье мое приметно поправляется, и если бы не здешние воды, чрезвычайно изобильные селитрой, желудок мой скоро пришел бы на прежнюю статью. От солитера привез кучу лекарств с собою, и если выдастся дня два порожних, хочу его выгонять. На водах я был еще слишком слаб, чтобы выдержать сильные средства. Теперь сходим в Абинь, центр наших действий, а там пустимся в горы, ко вновь заложенному укреплению Св. Николая, и будем впоследствии очищать около него ущелья и прокладывать новую дорогу. Не знаю, что будет вперед, но до сих пор Шапсуги дерутся не по прошлогоднему. Посмотрим, осенью не прибавят ли рыси, потому что, кончив полевые работы, они охотнее собираются, а собравшись, храбрее становятся.

Нового у нас на Кубани нет, да и быть не может, кроме самых вседневных вестей о намерениях Черкес на прорывы, которые большею частью оказываются ложны. Из России вести колеблющие сердца приходят на костылях инвалида. Сам я не сочиняю даже повестей. И никогда менее к тому не имел охоты как теперь, хотя никогда бы не написал я лучше как теперь. Долго, долго пройдет, покуда я решусь что-нибудь создать, еще долее -- выдать.

После пятимесячной болезни, которая меня держала в пеленах, в люльке, я опять под летучею палаткой, сплю под грохотом барабанов и ржаньем коней. Не поверите, как бьется грудь, слышав знакомый топот своего георгиевского бегуна. Сердце рвется в поле...

Повеселись, мой острый меч,

Повеселись, мой конь ретивый!

Будьте здоровы и счастливы, достойный Ксенофонт Алексеевич; сожмите руку братца Николая Алексеевича, и не забывайте вашего

Александра Бестужева.

Ольгинский tete-la-bout.

L.

Ивановка, в Черномории, штаб-квартира

Тенгинского пехотного полка. 8 ноября 1835.

И вот я цел и жив опять воротился на русскую сторону Кубани; на русскую только по географии, но не по духу народа, не по видам земли, ни по чему в свете. Печальная сторона, плоская сторона, любезный Ксенофонт Алексеевич, наше Черноморье!.. И в ней-то осужден я скитаться, как Овидий между Крымцами. Да, грустно было Чайльд-Гарольду покинуть Англию, не оставляя в ней ничего, о чем бы стоило поплакать; но каково ступить на край земли, в которой должно жить без всякого радостного чувства, хотя невообразимые труды и трудности закубанской экспедиции могли бы вдохнуть страсть к самой дрянной лачужке с трубою, -- до того мы были промочены проливнями, длившимися три недели без устали! И между тем я бы так же равнодушно остался у бивачного дыма, как теперь сижу под кровлей хаты. Там по крайней мере есть разнообразие опасностей, забот самых неудовольствий, между тем как здесь одна перспектива скуки, вечной и неизменной, непроходимый океан грязи, не просыхающей даже летом, и, что хуже всего, никаких средств к жизни, не говорю душою, но самым телом.

Сенковский писал ко мне и признавался, что он переделывать должен все статьи, к нему присылаемые: до того они дурны и бесхарактерны в оригинале. Я отвечал ему, что с этим можно дать ход журналу -- никогда словесности, и что никто не скажет ему за то спасибо, потому что это портит вкус публики единообразием и характер сочинителей, отступающих за деньги от своей индивидуальности, от своего самолюбия; что это обращает словесность в фабрику. Впрочем, он, кажется, и не заботится о ней, а употребляет ее лишь средством для поддержания журнала.

Давно уже не имел от вас известий, добрый друг мой здоровы ли? счастливы ли? что делаете, что пишете вы? Про меня не спрашивайте: я положительно не имел времени выспаться, не только что-нибудь прочесть, и до того разучился писать, что двух строк связать не могу. Имею охоту кой-чем заняться, но сколько пройдет времени, покуда у меня в грязной хате настелют пол, покуда разживусь я столом и стулом! Вы, горожане, постигнуть не можете, каким неудобствам подвержен военный Кавказец! Как дорого ему обходится малейшая безделка, и сколько здоровья уносит у него недостаток всех удобств!.. От дыма я потерял почти глаза, не говорю уже о беспрестанной мокроте, о зное и холоде. Все это сносишь твердо, но все это отзывается в костях, в желудке, в голове, может быть в самом мозгу: это письмецо может служить последнему доказательством.

Уведомьте, сделайте одолжение, об остальных экземплярах издания, и если можете уже реализовать итог, то, положив его в сохранную казну, отошлите билет сестре моей Елене Александровне, а мне счет кредиту и дебету. Да если будут лишки, рублей 500 пришлите ко мне. Я скоро буду на мели. Обнимите брата Николая Алексеевича и будьте счастливы сами... До другого дня -- у меня падает перо от усталости.

A. Бестужев.

LI.

Теперь вы неминуемо имеете уже обо мне сведения, любимый Ксенофонт Алексеевич: я писал в тот же день к вам, как вы ко мне, от 8 ноября. Письмо ваше много меня порадовало: я давно ни от кого из родной Руси не получаю писем. Этому виной конечно адрес к П. А. К., который вовсе неожиданно гуляет теперь по Москве белокаменной. Он очень хороший человек. Скажу хоть вкратце о себе. При производстве в унтер-офицеры я переведен в 3-й Черноморский батальон, в кр. Гиленджик, на берегу Черного моря, в неприятельской земле Натухайцев. Крепость эта имеет весьма медленное и неверное сообщение с Россией, и то морем. Лишена всех средств к жизни, ибо кроме гарнизона нет души в ней. Климат средней руки; впрочем, Черноморье здешнее еще хуже. Вы видите, что радостей мне там ждать нечего: зато, вероятно, там менее сплетней, и я несколько скучать не стану. Я все с собою ношу, хотя горько покинуть полк, к которому привык, на неизвестное. Лихорадка точит меня понемногу, и не дает средства отправиться через Анапу к месту своего назначения; а мне бы уж чем скорее, тем лучше. Близость гор и моря не последняя отрада -- я так люблю море и горы!

Не знаю, хороши или нет последние очерки, по крайней мере они писаны от души: вот все их достоинство, и достоинство только личное. Вам я не слишком верю в похвалах: вы переносите на мои строки любовь к моей

душе. Теперь посылаю еще отрывки из журнала убитого, и если вы не будете плакать, их читая, -- или вы или я без сердца. Впрочем, надобно пожелать к этому, чтоб они напечатаны были вполне и без таких нестерпимых ошибок, как мои все статьи в Библии для Чтения. Вообразите, что там есть место, где мое: быть ровней с знатю, напечатано: с злостью; продают, предают -- повторили только первое слово, и куча других, вовсе не имеющих смысла. Корректуря меня щадит менее чем цензура.

Шуба и мушкетон получены в Екатеринодаре; я их еще не видал, но благодарю вперед. За книги -- тоже; посылаю за ними. Письма адресуйте: в Екатеринодар, в Черноморию, в штаб 20-й пехотной дивизии. Обнимите брата Никола Алексеевича от сердца. Нынешний год, как человек уже чиновный, я имел более случая отличиться с пользою. Пули меня решительно не берут, хотя вся одежда исстреляна и конь ранен. Бог велик! Здравия и веселья души!

Ваш Александр Бестужев.

С. Ивановка, 15 дек. 1835 г.

Карлгофу статью обещаю, но скоро прислать ее не могу. Что за картинки! их надо печатать на сердце.

(На особом листочке):

Сейчас получил посылки. Шуба немного узка в плечах, Впрочем, я продам ее за свою цену, ибо должен бросить половину своих вещей. Никто не поверит, как разоряют меня эти переводы и переезды! -- Мушкетон прелесть, но слишком тяжел для носки: вышла милая игрушка. Поблагодарите Радожицкого, но он сам вероятно знает, как бедны наши Кавказцы для таких дорогих мастеров как Порохов. Впрочем, стану заманивать на заказы (Для пояснения подробности о мушкетоне, должно сказать, что Бестужев писал мне о нем, и когда я отвечал ему, что имею возможность заказать какое он хочет оружие в Туле, под руководством одного из лучших знатоков этого дела, он прислал подробное описание мушкетона, с рисунками, размерами, с упоминанием о всех малейших частях его, потому что он был до педантизма аккуратен в положительных предметах. Имея предварительно согласие моего старого знакомого И. Т. Радожицкого (ныне генерал-майор в отставке), бывшего тогда одним из главных лиц при Тульском оружейном заводе, я послал к нему описание и рисунок мушкетона, с просьбою сделать для Бестужева что только можно лучше, не затрудняясь в цене. Действительно, сделано было оружие образцовое, драгоценное по своим достоинствам, изящное наружностью, и посылая его ко мне, г. Радожицкий писал, что мастер (Порохов) делал его на славу, в надежде иметь заказы с Кавказа, ибо там нельзя достать ничего подобного. Но, как видим, Бестужев признал мушкетон и тяжелым для стрельбы одною рукою (как он желал), и слишком дорогим. Не знаю, употреблял ли он его впоследствии. Помню, что в Москве знатоки дивились искусству мастера и удобству этого оружия. И могло ли быть иначе, когда оно делалось под надзором г-на Радожицкого, желавшего одолжить Бестужева? Цены не помню, но она была умеренна по достоинству оружия. К. П.). Книжки начну сосать на берегу Черного моря.

LII.

Гиленджик, 13 апреля 1836 г.

Дорогой Ксенофонт Алексеевич!

Пишу с берега Черного моря, которое бушует теперь не по вешнему. Переезд мой из древней Пантикапеи сюда, был слишком счастлив: ни одной бури, ни одной встречи с черкесскими галерами... Предосадно, право! Впрочем, обещают эту потеху впереди. Контрабандистов турецких умножилось очень, и чтоб уничтожить их суда, необходимо сделать высадку на берега, а в таком случае, я, конечно, не упущу этой *partie de plaisir*.

Видел музей керченских древностей: очень любопытные вещи. Спускался в разрытые курганы, в катакомбы, напудрился прахом древности самой классической, самой грецкой -- не удивитесь же, если (чего Боже сохрани!) заметите в моем будущем слогe эллинизмы и поползновение к хрям и синекдохам.

Но как бы то ни было, я в Гиленджике. Я видел его после долгого похода в первый раз, и потому в первый раз он показался мне лучше нежели я нашел его теперь. Куча землянок, душных в жар, грязных в дождь, сырых и темных во всякое время, -- вот гнездо, в котором придется мне несть орлиные яйца. Общества, разумеется, никакого; но как я этим не избалован, то мало о том и забочусь. Дело в том, что здесь нечего есть, в самом точном значении слова. Бить быков, которых очень здесь мало, летом нельзя, портится мясо, а

куры дороже чем в Москве невесты. Питаются поневоле солониной, да изредка рыбой; но как последняя в здешнем климате верный проводник лихорадок, есть ее опасно. Сообщений мирных с Черкесами нет и быть не может. С мыслью и с надеждою получать газеты и письма простился я еще в Черномории; итак одна отрада в трубке и в думе, впрочем, и это не безделица! Я так всегда бываю тверд в испытаниях, насылаемых на меня судьбой, что конечно не упаду ни духом, ни телом от лишений всех родов, не паду, назло скорбуту и лихорадкам, которые жнут здесь солдат беспощадно. Потому потрудитесь сказать тем, которые вздумают отпевать меня заранее, как это уже не раз было, чтоб они не сипли даром. Они еще не так сладко поют, чтобы заманить в могилу. Обнимите любезного Николая Алексеевича, -- что он и как он? Правда ли, будто готовит два романа? Давайте нам их поскорее... Что до меня, я всегда охотнее был на ведение романов, чем на их сочинение. Та беда, что ни на то, ни на другое давно не было мне возможности.

Давно жду, любезный Ксенофонт Алексеевич, обещанного расчета. Деньги, приходящиеся за три последние части П. и Р., назначил я сибирским братьям в помощь, процентами, кроме кой-каких других, и потому мне хотелось бы реализовать и округлить их. Письма, до извещения, и книги можете адресовать в Керчь, его высокоблагородию Демьяну Васильевичу Карейше, "просят переслать в Гиленджик, такому-то". Это вернее и скорее, ибо транспорты ходят только туда, очень редко в Анапу. Впрочем, если писали в Екатеринодар, и оттуда хоть через три месяца получить не отчаиваюсь.

Дай Бог вам здоровья и радостей.

Ваш душевно Алекс. Бестужев.

LIII.

Керчь, июня 19-го дня.

Вероятно вы уже знаете и делите со мной радость о моем производстве, любезные друзья, Николай и Ксенофонт Алексеевичи!... Милость царя была мне тем более драгоценна, чем менее ожиданна, и вообразите, что эта весть, неслыханным для Гиленджика чудом, перелетела сюда в 19-й день, когда по три месяца обыкновенный ход корреспонденции! К счастью, что я был истощен лихорадкой, иначе, внезапная радость наверно бы меня убила, я думал, что у меня лопнет аорта, когда прочел в Инвалиде свое имя. Правда, при этом я переведен в ужасный климат Абхазии, но теперь, как офицер имея права, служба будет не так отяготительна, и -- Бог велик! Неужели я погибну, не взглянув на родину? Здоровье мое, убитое лихорадкой и грустью, после перелома в моей судьбе поправляется, но очень медленно. Книг мне не шлите, ибо я не знаю, куда забросит меня судьба: я, как вечный Жид, осужден, кажется, скитаться по белу свету, *sans treve ni repit*. Пишите ко мне в Керчь, Демьяну Васильевичу Карейше. Я туда приехал обмундироваться и сажусь в карантин. Мне бы необходимы воды, да отпустят ли, не ведаю, а пора уже поздняя. Одним словом, что со мной будет, не знаю, но с судьбой вполнину мирюсь, эполеты важный перевес, хотя бы они были и аплике. Все, что нужно для обмундировки, выписываю из Одессы, и потому покуда никаких игрушек не надо. Письмо ваше от 10-го апреля получил в один час с Инвалидом. Сомневался ли я когда-нибудь в том, что вы блюли мои выгоды? Грех вам об этом говорить. Я хотел счета, а не уплаты, ее я считал в своем кармане, хотя она была у вас, но для соображений мне необходимы были счета. Их еще не получил.

Вы должны были получить одно мое письмо через Севастополь, писанное на фрегате Бургас, после поездки в Сухум-Кале и Мингрелию. Да, или нет? Я часто хожу теперь по морю, и все мое младенчество обновляется мне, когда рыщу по валам Черного моря. Если бы не болезнь и не смертная тоска в гнилом Гиленчике, я бы мог написать что-нибудь, но не имею покоя ни в нравственном, ни в вещественном мирах. Надо, чтоб это все устоялось, а на полете писать не могу.

Обнимите брата, поцелуйте ручку у своей супруги, и все это за меня. Само собой разумеется, вы помолитесь Богу и без просьбы за многолюбящего вас Александра Бестужева. Вскрываю письмо, чтобы просить вас прислать сюда 300 р. денег. Я здесь задолжаю, и потому это будет не лишнее. Условие: если вы при деньгах.

(На особом листке, так же как и письмо, исколотом в карантине:)

Есть на берегу Черного моря, в Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от раскаленных скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и превращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех высот в окошки; где лихорадки свирепствуют до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят

оттуда, как с смертоносными обструкциями или водяною. Там стоит 5-й Черноморский батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами как морем, и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилою солониной. Одним словом, имя Гагры, в самой губельной для Русских Грузии, однозначше со смертным приговором!

Мне опять хуже, лихорадка с разными вариациями возвращается вновь и вновь. Я похож на тень, и только по боли чувствую, что я тело. Не знаю, что будет из меня, если не оправясь поеду в 5-й батальон.

19-го. Здоровье получше. Море меня поправило.

LIV.

6-го августа 1836.

Я уже начинаю беспокоиться, любезнейший Ксенофонт Алексеевич не получая так долго от вас никакого известия. Я все болен лихорадкой: она меня покинет, порой, на неделю, и вдруг опять возвращается. Так она меня высушила, что можно вставить в фонарь, вместо стекла. Я писал вам и через Севастополь, и через Керчь, нет как нет ответа. Неужели хлопоты по изданию Ломоносова вас так поработили? Ломоносов должен быть хорошая и новая полоса (rail) для хода нашей словесности: я сужу по отрывкам, напечатанным в Библиотеке для Чтения. Русских книг, кроме Библиотеки, сюда не доходит, да кажется, что и нет ничего достойного чтения. Современник выехал на ристалище, но, видно, после водяной: ему не устоять против золотого чекана. Намерение благое, а исполнение плохое. Спасибо и за протест: *c'est un merite comme un autre*. Скажите, справедлив ли слух, будто брата вашего наименовали должностным историографом? Эти слухи рассеяны были в Одессе и приняты за верное. Если правда, утешительно это для всех любящих русскую историю и самого историка.

Quand on parle de loup, on en voit la queue: я прерван получением вашего письма с 300 р. асс. За участие не благодарят, и потому я поговорю лишь о деле. О процентах, пожалуйста, не говорите мне и вперед: я друзьям не отдаю в рост ничего, потому что и никому не отдаю в рост ни денег, ни одолжений. Офицерских вещей мне уже не надо, ибо я обмундировался вполне. О Гаграх я писал к вам подробно, видно, вы не получили моего письма с этим описанием: это просто гроб. Здоровье все плохо. Кто вам вперил райские мысли о Крыме? Это невидали (?), которые с роду не знали других гор, кроме Валдайских. В сравнении с восточным берегом, южный просто дрянь, в отношении к величию природы. Но на южном велики труды Воронцова: тут человек оживил и победил природу. Середина и оконечности Крыма почти степь, нагая, бедная, безлесная, безводная. Впрочем, я говорю то, что знаю по описанию других. Ломоносов еще не взят с почты; когда съем его, то скажу какое произведет он на меня впечатление.

Приняв несколько ванн в море, я еду в отряд для получения бумаг, а оттоле берегом через Тифлис к месту моего назначения.

Пишите по последнему адресу, как-нибудь и когда-нибудь я получу ваши строки. У супруги вашей целую ручку три раза; братцу Николаю Алексеевичу братское объятие. Счастья и успеха. Сердцем ваш

Александр Бестужев.

LV.

Любезный друг Ксенофонт Алексеевич с 1-го сентября я приехал опять на восточный берег Черного моря из Керчи, где проболел все лето. Теперь лучше, и движение восстанавливает понемногу силы. Пришел с отрядом на Кубань, откуда и пишу к вам немногие строки, ибо торопят к отправлению почты. Дня через два выступаем вниз по левому берегу Кубани и пройдем с мечом и огнем до Анапы; оттуда другим путем назад. Это съест месяца два времени, и как мы будем все это время плавучим островом, без сообщений с твердою землей, то не дивитесь, что долго не будете иметь от меня вестей. Бог, который вынес меня из стольких бед, накроет щитом и вперед. Впрочем, Его святая воля, я должен царю своею кровью. Ломоносова пробежал, но не вчитался еще в него; дайте устояться впечатлениям. Скоро мне нужна будет, или, лучше сказать, необходима будет сумма значительная, и потому постарайтесь очистить счета по изданию с сестрой моей Еленой Александровной.

Даю вам комиссию: купите, пожалуйста, мне бобровый офицерский воротник для шинели, без лацканов, рублей около ста ценой, и вышлите по прежнему в Керчь. Брата Николая Алексеевича обнимите за меня, и

поблагодарите за участие жену вашу. Фаддей недавно ко мне опять писал, распестрил всех в-пух; досталось на долю и братцу вашему; сам приbedнился ужас, чуть не свят!

Будьте счастливы и успешны во всем. Сердцем ваш

Александр Бестужев.

20 сентября 1836.

Ольгинское укрепление на Кубани.

LVI.

В первый раз с давнего нашего знакомства сажусь за перо с неприятным чувством, почтенный Ксенофонт Алексеевич! Вот уже четыре месяца, что я не получаю от вас ни строчки, и потому очень бы желал положительно знать искренний ответ ваш. Неужели проклятое золото лишит меня и вашего дружества, как оно не раз делило меня со многими, которых считал я друзьями? Неужели целый мой век суждено мне разочаровываться на счет всего и всех? Не могу, по крайней мере не хочу верить этому, и как ни трудно истолковать мне столь долгое молчание ваше на многие мои письма и адреса, я все-таки хватаюсь за соломинку, прежде чем погрузиться в море сомнений. Граф Воронцов, приняв живое участие в судьбе моей, просил государя императора о переводе меня в статскую службу в Крым, по расстроенному моему здоровью; я с своей стороны писал письмо к графу Бенкендорфу, где излагал свое горестное состояние в подробности. Согласия не последовало. Меня перевели только из Гагр в Кутаис, куда я с нового года и еду. Климат там -- отечество лихорадок.

Новый адрес ко мне, на первый случай, в Тифлис, рестовое (то есть *poste restante*). Я ждал бобрового воротника в Керчь, и вот новый год на дворе, а его нет. Если не посылали, то и не высылайте: он приедет уже летом в Грузию.

Будьте счастливы, обнимите братца и не забудьте вашего

А. Бестужева.

19 декабря 1836 г.

Тамань.

LVII.

Тифлис. 1837 г. февр. 12 ч.

Я прочел письмо ваше, любезный друг Ксенофонт Алексеевич, с укором в сердце. Да, я сознаю себя против вас много виноватым; я от души прошу у вас извинения в моей опрометчивой подозрительности, и уверен, что, вникнув в мое колючее положение, вы не сохраните на душе ко мне гнева. Многое относил я на счет почты, но никогда еще она не была так немилостива, как в последнюю осень, и я, не получая ни от кого из родных и друзей известий в течение трех месяцев, вышел из себя, и был увлечен волною желчи. Я очень вспыльчив: от этого порока не мог я отделаться с самого детства, хотя и много работал над исправлением себя, но зато никто скорее меня не признается в своих ошибках, и я очень рад буду, если эти строки заставят вас простить одну из них. Несчастье возвращает ум, истощая на его питание сердце; жалкая, но почти неизбежная истина! Беда еще больше, если к раздражительности физической присоединится раздражительность гордости, а это мой случай. Правда, она поддерживает дух, но разъединяет его от других, то принимая живое участие за сожаление, то истолковывая молчание или минутное охлаждение как измену. Прошу вас об одном: верить, что и в самой вспышке против вас, я и не думал о деньгах. Хоть бы вы еще десять лет не были в состоянии их выплатить, я бы не поморщился, деньги можно нажать сто раз в жизни, а потерянных друзей не воротить. Это мое вечное правило. Дело в том, что я постичь не мог вашей безответности, и промежуток четырех или пяти месяцев меня озадачил. *A l'impo nul n'est tenu, me disais-je, mais pourquoi ne pas le dire a un ami? Ce n'etait donc pass le manque de redevance, mais le manque, de confiance qui m'amis hors des gonds.* Но это дело минувшее в полном значении слова.

Я проехал очень быстро через Кавказ, по глубокому снегу и в метель, так что, без фигур, не видал опасности, хотя она была сверху и снизу. Скоро еду в свой Кутаис, в Имеретию, и с раннею весной опять в огонь боя, и в жар климата. Начальством здешним был принят очень милостиво, и готов заслужить это потом и кровью. Что

со мной будет далее, уведомя. Покуда, адрес мой все в Тифлис.

Обнимите за меня братца. Правда ли, что он переселяется в Петербург, как мне писал брат? Что наша словесность. Разгадайте, кто такой Рахманный, этот против своей матушки юной словесности оцетинившийся ученик Сенковского? В нем есть что-то игривое, хоть оно и заёмное. Будьте счастливы, и любите по старому

вашего Александра Бестужева.

LVIII.

12 мая 1837 г. В сердце Цебельды.

Посреди гор Кавказских, на бивуаках, не забываю я своих далеких друзей, а вы, любезный Ксенофонт Алексеевич, в Москве забыли если не меня, то писать ко мне. Я уж и не помню как давно не имел от вас известий.

Вот уже три недели, как я шляюсь по новому для меня краю Мингрелии, Абхазии, и новому для Русских вообще краю Цебелы. Виды -- прелесть, но люди гадость, разбойники и не воины. Бедны, как нельзя более в краю, роскошном дарами природы. Мы пришли сюда освободить кучу пленников русских, похищенных или бежавших, и ставших рабами туземцев. Понемногу их выдают без бою. И странно и жалко взглянуть на этих мучеников, так они оборваны, грязны, истощены голодом и работой! Иные провели тут до 35 лет, женились, вывели детей на новые унижения.

Около 1-го июня, мы двинемся за Гагры, там народ боевой и природа ужасна трудностями; надо будет по отвесным скалам пробивать дорогу под пулями врагов, под градом камней и стрел, но что невозможно Русским? Государя ждут в конце сентября; он увидит свое храброе войско на завоеванном мысе Ареларе, притоне налетов черкесских и турецких контрабандистов; потом ступит на землю в Поти, объедет границы Турции и Персии, и через Тифлис и Пятигорск возвратится в Россию. Мы все ждем царя-батюшку с любовью и нетерпением.

Давно ничего не читаю, -- вы видите, какую жизнь веду я, и теперь пишу на колене, на чистом воздухе, потому что в эти чертовские места без дорог вышли без палаток, на легких. О письме нечего и думать. Не знаю ничего гибельнее для занятий умственных, как военная служба: она не только отнимает настоящее время, но истребляет всякую привычку к занятиям в будущем, и лень, эта дочь пословицы: "от дела не бегай, а дела не делай", задушает даже мысль в голове. И такую-то жизнь осужден я вести в течение 20 лет. Чувствую, что я бы мог быть хорошим генералом при обыкновенном течении дел моих; но к чему служит моя опытность и храбрость теперь? К тому, чтобы ходить в стрелковой цепи наравне с прапорщиком только что из корпуса, и быть подстреленным в какой-нибудь дрянной перестрелке, в забытом углу леса (Как горестно осуществилось это предчувствие, через немного дней после того как он писал ко мне это последнее свое письмо! К. П.)?.. Лестная перспектива.

Что чахоточная словесность наша? что ее поклонники и работники? Мне всё и все надоело! Я гляжу на Божьи горы, на голубое небо по целым часам, и нахожу, что невысказанная поэзия этого слаще и чище для меня, чем все, что я не досказываю сам или недопонимаю в других. Трудно говорить на языке, которого не понимаешь, или не понимают хорошенько, зачем же трудиться, когда вместо благодарности за это тебя же гоняют? Я устаю.

Обнимите за меня брата Николая. Я праздновал 9 мая как свой полковой праздник, здесь, среди гор, и со слезой выпил заздравную чашу за моих Николаев! Будьте счастливы! Адрес мой в Тифлис. Оттуда пришлю в Грузинский гренадерский полк, к которому я прикомандирован.

Сердцем ваш Алекс. Бестужев.

Два литературные протеста, принадлежащие к разным годам писем Бестужева.

I.

С удивлением начитал я в 53 номере Литературных Прибавлений к Инвалиду отрывок из моей повести: Андрей, князь Переяславский, напечатанный с подписью г-на Петрова, из Енисейска. Не имея чести знать

г-на Петрова, не только передавать ему право печатать под своим именем чужие стихи, с прибавкою поправок, пропусков и ошибок всех родов, я полагаю, что эта выходка принадлежит вполне г-ну Воейкову, ибо он сделался славен своими литературными заездами в чужую собственность. Для сего прошу вас перепечатать, если будет можно, сие стихотворение с имеющегося у вас списка, а о поступке г-на издателя Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду, упомянуть несколькими словами. Не потому желаю сей гласности, чтоб я высоко ценил слабое свое произведение, но во избежание впредь подобных похищений. Не довольно того, что уже две главы оной повести напечатаны без моего позволения и против моей воли, -- теперь находятся люди, которые подписывают под отрывками из нее свое имя.

А. Б.

Дербент. 15 августа 1831 года.

В Московский Телеграф.

II.

Г. Воейков решился, кажется, не только обкрадывать меня, но перепродавать моих чад под чужим именем в рекруты. В 54-м No его Прибавлений, например, эпиграф, взятый из моего отрывка перевода Оптимиста, напечатанного в 18...м году в Сыне Отечества, и потом им же перепечатанного в Образцовых Сочинениях под литерами А. Б., теперь является с подписью: Дунин-Борковский. Замолвите слово за меня. Это неслыханная дерзость. Вероятно, были и другие воровства, да не случилось видеть: только для смеха заглядываешь в этот лоскутный ряд.

Текст воспроизведен по изданию: Письма Александра Александровича Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым, писанные в 1831-1837 годах // Русский вестник, No 4. 1861